ДОРОГИЕ МОИ СТАРИКИ

Выпуск 3









коллективный сборник

Серия «Серебро Слов»

Дорогие мои старики

Сборник произведений

Выпуск 3



Коломна
Серебро Слов
2019

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-4

Д69

Редколлегия:

Сергей Сергеевич Антипов
Заместитель председателя Правления
Московской областной организации
Союза писателей России

Игорь Евгеньевич Витюк
Заместитель председателя Правления
Московской областной организации
Союза писателей России

Денис Викторович Минаев
Генеральный директор издательства «Серебро Слов»,
секретарь Правления
Московской областной организации
Союза писателей России

Надежда Васильевна Казакова
г. Химки, редактор-составитель сборника

Д69 **Дорогие мои старики.** *Сборник произведений. Вып. 3 / [Авт.; Ред.-сост. Н.В. Казакова].* — Коломна: Серебро Слов, 2019. — 214 с.

ISBN 978-5-907154-59-9

© Авторы, 2019
© Казакова Н.В.,
редактор-составитель, 2019
© Анисимова Е.В., обложка, 2019
© Серебро Слов, 2019

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЯМ

Как корабль назовёшь, так он и поплывёт.

Работу над третьим выпуском коллективного сборника «Дорогие мои старики» мы начали 20 марта, во Всемирный день счастья. С верой в счастливую судьбу нашего детища мы и принялись за дело.

Знакомясь с содержанием этой книги, вы увидите известные вам по предыдущим сборникам имена. Наши постоянные авторы Светлана Бестужева-Лада, Георгий Петров, Людмила Колбасова, Ульяна Васильева-Лавриеня, Иаков Липянский, Пётр Панасейко, Анна Шувалова, Ирина Салтанова, Надежда Казакова на этот раз познакомят вас с уникальными историческими изысканиями, собственными воспоминаниями об ушедших в прошлое годах, прозаическими и поэтическими произведениями, в которых главный герой — человек немолодой, всенародно известный или обычный, подчас противоречивый, оказавшийся в сложных жизненных ситуациях.

Появились у сборника и новые авторы, которых хотелось бы представить, но сначала я расскажу об Ирине Салтановой (г. Севастополь), которая по стечению обстоятельств не участвовала во втором выпуске, но, несмотря на это, пристально следила за формированием книги, интересовалась, кто из «первооткрывателей» проекта пришёл и в следующий выпуск. Что тут скажешь? Дочь известных в Севастополе журналистов, мечтавшая о творческой стезе с юных лет, окончившая школу рабкоров, тонко чувствующая слово и характеры людские, она попросту не могла «самоисключиться» из процесса и готовила специально для третьего выпуска свою «Перекличку времён». Одновременно с этим Ирина успела сняться в массовых сценах в нескольких фильмах (замечу в скобках, что даже свой день рождения она провела на съёмочной площадке).

Всего же Ирина принимала участие в съёмках двенадцати фильмов («Исаев», «Обитаемый остров», «Монах и бес», «Морские дьяволы», «Чужая кровь», «Клятва», «В Кейптаунском порту» и др.), но больше всего запомнилась работа с режиссёрами Сергеем Урсуляком, Фёдором Бондарчуком, Николаем Досталем, Сергеем Соловьёвым. А фильм Алексея Пиманова «Крым» позволил ещё раз пережить те тревожные, переломные исторические события, когда прихожане всю ночь молились у храмов за ополченцев Крыма, которые, вооружившись черенками от лопат и щитами, встречали на железнодорожном вокзале в Симферополе непрошеных гостей из Львова и были готовы отдать жизнь за то, чтобы воссоединиться с Россией. К счастью, события развернулись по-другому, состав пришёл пустым, так как вооружённые бандеровцы побоялись народного гнева.

Ирине Салтановой не довелось продолжить дело родителей, она стала не журналистом, а высококвалифицированным специалистом в области связи, но она встретила на своём пути столько уникальных людей, что это дало ей знания, опыт и возможность реализовать свой писательский дар.

Валерий Кожушнян (г. Днестровск, Приднестровская Молдавская Республика) работал геологом, строителем, художником-оформителем, тренером по боксу, пока стремление научиться писать профессионально не привело его на факультет журналистики МГУ. И с тех пор он ни разу не изменил профессии: его выверенные, доказательные, злободневные материалы, написанные мастерски, печатались в изданиях России, Молдавии, Украины, США. В течение семи лет Валерий был редактором отраслевой газеты «Лесохимик Усть-Илима». В 1992 году вернулся в Днестровск и понял, что газетная полоса ему тесна. Так появились книги «Тяжкая ноша», «Жил-был я...», «Горнюха», «Осколки», «Записки прохожего». Страница за страницей писались они в основном поздними вечерами и ночами, потому что творчеству он мог отдать только то время, которое оставалось от работы по созданию Союза писателей и литературного фонда Приднестровья, редактированию журналов, книг, альманахов.

Не первый год Валерий Кожушнян возглавляет писательскую организацию Приднестровья и является членом президиума Международного сообщества писательских союзов, награждён Правительством Приднестровской Молдавской Республики медалью «За трудовую доблесть» и орденом «Трудовая слава». За самобытное творчество он удостоен медали им. А. П. Чехова, ему присвоено звание «Лауреат литературной премии им. В. И. Даля». В нашем сборнике помещён полный глубокого психологизма рассказ Валерия Кожушняна «Зимний лов», где каждое слово метко и уместно, где эмоции и позиция автора угадываются однозначно, но не доминируют в повествовании.

Член Союза писателей России Лариса Калюжная (г. Санкт-Петербург) родилась на Псковщине в семье учителей. Окончила Ленинградский политехнический институт и Свято-Иоанновские богословско-педагогические курсы при Санкт-Петербургской епархии. Работала инженером-конструктором на ленинградских предприятиях. Сейчас — преподаватель детской воскресной школы.

Рассказы и статьи Л. Калюжной публиковались в газетах и журналах Москвы, Минска, Санкт-Петербурга. Она приняла участие в создании двухтомника «Семейный атлас России», трёхтомника «История России в семейных преданиях», книги «Отец — отчество — Отечество», учебного пособия для первого класса «Основы православной культуры». У Ларисы Калюжной вышла книга для родителей «Бабушка, а почему?» и книга для детей «Про Колю, Ваню и бабушку». В сборнике «Дорогие мои старики» Лариса предлагает читателям свои воспоминания об отце «Я всё помню, папа». Мемуары о первой блокадной зиме «Что такое блокада?» (ими поделилась двоюродная сестра автора) также записала и подготовила к публикации Лариса Калюжная. Читать произведения Л. Калюжной интересно, читать их тяжело и порой без слёз невозможно, читать их нужно, ибо они правда и есть.

Так сложились судьбы, так встали звёзды, что некоторые наши авторы, никогда не видевшие друг друга, встретились здесь, в нашем сборнике, и, как кажется мне, не случайно.

Отец Ирины Салтановой принимал непосредственное участие в прорыве блокады Ленинграда, был тяжело ранен в Шлиссельбурге. В городе на Неве живёт Лариса Калюжная, тоже дочь фронтовика. А отец Валерия Кожушняна, Иван Алексеевич Голев, совсем юным попав на фронт, был тяжело ранен на Сапун-горе в 1944-м, освобождая Севастополь, город, ставший родным для семьи фронтовика Салтанова. Долго находился Иван Алексеевич на излечении в госпиталях, но в строй больше встать не смог.

А послевоенная судьба привела его в Красноярский край (на родину нашего автора Георгия Петрова, тоже сына фронтовика), на строительство Красноярской ГЭС. Вместе с членами бригады Ивана Голева в сентябре 1963 года Юрий Алексеевич Гагарин бетонировал тот самый первый пристанционный блок Красноярской ГЭС, на фундаменте которого она и стоит сегодня. Тогда же отец Валерия Кожушняна вручил Юрию Алексеевичу письмо — просьбу дать согласие стать почётным членом коллектива бригады. И через два дня, выступая на слёте молодых строителей Сибири и Дальнего Востока в Красноярске, первый космонавт Земли сообщил о своём ответе строителям. С того самого дня был зачислен в состав бригады Ивана Голева Юрий Гагарин, а причитающуюся ему зарплату ежемесячно перечислял в Советский фонд мира.

Тесен наш мир, хоть и велика земля наша...

Наталия Гусева (г. Москва) подготовила к публикации в этом выпуске проекта «Дорогие мои старики» подборку стихов своего дяди Геннадия Лысенко и очень тепло и душевно рассказала о нём, инженере по образованию и поэте по призванию. Это печатный дебют Наталии Гусевой, но человеку, который много лет профессионально занимался организацией туризма и побывал на всех континентах, кроме Австралии и Антарктиды, есть что рассказать. Будем надеяться, что мы ещё встретимся с Наталией на страницах наших сборников.

В отличие от Наталии Гусевой Марина Андриевская (литературный псевдоним Марины Михайловны Чистовой из г. Москвы), пианистка, композитор, педагог, музыкальный обозреватель, лауреат международных фестивалей

и конкурсов, стихи и прозу пишет со школьных лет. Делает это изысканно, тонко, по-настоящему творчески. Автор выносит на суд читателей повесть «Весна придёт!» — произведение многогранное и неординарное.

Член «Союза писателей XXI века», Марина Андриевская много публикуется. Её произведения можно увидеть в интернет-журнале Союза писателей Москвы «Кольцо А», на евразийском журнальном портале «Мегалит», в журналах и сборниках новокузнецкого издательства «Союз писателей» и других, а также в музыкальных и педагогических изданиях.

Анна Прудская (г. Старгард, Польша), безусловно, виртуозно владеет словом, искусством построения сюжета, талантом обозначить острые углы бытия нашего и стимулировать читателя к самостоятельному поиску ответов на неудобные вопросы о современной семье, где все успешны и несчастливы. Проблемы, тревоги и хлопоты женщины, которой сегодня за ..., узнаваемы многими, типичны, но переживания, настроение и отчаяние главной героини рассказа «Мелочь, ерунда» показаны таким образом, что читатель кожей чувствует: это только её боль, только её жизнь, потерянная в дебрях дефицита любви, понимания и денег. Остаётся только догадываться, как удаётся успешной бизнес-леди находить время и силы для создания такой прозы.

В рассказе «Старый скрипач» Милены Миллинткевич (г. Краснодар) удивительным образом переплелись события времён Великой Отечественной войны и современность. Одинокий старик, прошедший горнило войны, попал в сложные обстоятельства, и помогли ему совершенно незнакомые, но неравнодушные люди. Этот рассказ в текущем году завоевал первое место в Межрегиональном литературном конкурсе «Ты сердца не жалей, поэт — 2019» в номинации «Малая проза». Надо сказать, что нынешний год сложился для Милены крайне удачно: она стала лауреатом (первое место) Межрегионального литературного конкурса «Свети, сияй, звезда Победы — 2019» в номинации «Малая проза», лауреатом (третье место) Регионального литературного конкурса «Россия, Пушкин и любовь — 2019» в номинации «Лучшее авторское стихотворение», её имя внесено в лонг-лист

Всероссийского конкурса «Герои великой Победы». За этими достижениями стоит напряжённый труд над каждой строчкой, каждой сюжетной линией, которые проработаны автором до тонкостей, до безупречности.

Галина Шубникова (г. Советск, Кировская область) пишет стихи со школьной скамьи и не первый год является членом городского поэтического клуба «Родники трёхречья». Совсем недавно вышел в свет сборник Галины «Я о любви не говорила много лет», а до этого поэтические произведения нашего автора печатались в сборниках «Родники» (г. Советск), «Советск поэтический», в альманахе «Слободской меридиан» и многих других. Поэзия Г. Шубниковой тёплая, негромкая и очень задушевная. В этом легко убедиться, познакомившись со стихотворением «Моим родным», которое включено в третий выпуск сборника «Дорогие мои старики».

Елена Шедогубова (г. Семилуки, Воронежская область) почти четверть века работает в школе-интернате и свою профессию учителя очень любит. А ещё она любит сочинять рассказы, новеллы, юмористические и фантастические произведения. Рассказы Елены «Поговорить охота», «Солдатская ложка» и «Последний бой», размещённые в сборнике, мастерски «срисованы» из жизни, и именно поэтому им веришь, они трогают душу.

«Я люблю тех, о ком или от имени кого пишу. Это неповторимое ощущение полноты жизни — её много в самых различных проявлениях, и она намного глубже, чем мои будни. Работая, приходится постоянно чему-то учиться, ведь, рассказывая о тех или иных событиях, надо достоверно знать, о чём пишешь. Также постоянно вспоминаешь правила русского языка, и это интересно. По крайней мере, для меня.

Это волшебное чувство, когда вдруг, совсем неожиданно, на основе услышанной фразы, мелодии, новостного сюжета рождаются образы, поступки, диалоги, и ты спешишь их запомнить, а потом записать. А после, перечитывая созданное, испытываешь удовольствие от того, что сложилось, получилось написать проникновенно и правдиво.

Теперь могу всем сказать: осуществляйте свою мечту, начинайте писать стихи или прозу в любом возрасте, если чув-

ствуете тягу к литературе, и никогда не думайте, что поздно. Сбывшаяся мечта — это счастье».

Вот этими словами нашего автора Людмилы Колбасовой (г. Балашиха, Московская область) мне и хочется завершить предисловие, потому что нельзя не согласиться с тем, что только идущий осилит дорогу к счастью — творить, выдумывать, сочинять для вас, дорогие читатели.

Надежда Казакова,
автор и редактор-составитель сборника
«Дорогие мои старики — 3»

Марина Андриевская

г. Москва

ВЕСНА ПРИДЁТ!

Повесть

Посвящаю моим родным

Зима ещё не закончилась, а уже везде — в свежем бодрящем воздухе, в ярко-синем, как будто новом, небе и в том, как тепло светило солнце; в слегка подтаявших дорожках, давно протоптанных в сугробах, в глубоких следах в них, блестевших скользкою корочкой; в длинных сосульках под крышей с переливающимися тяжёлыми каплями; в золоте высоких строгих сосен, качающих свои кроны без ветра; в громком щебете птиц и в слышимом вдруг, таком летнем «пить-пить...»; и ещё в разных других звуках, но особенно в завораживающем, манящем гуле самолётов, летящих где-то далеко в вышине и оставляющих белоснежный тающий след, — во всём было что-то новое, волнующее, и всё уже было в будущем. Мир казался открытым, просторным, всему было в нём место, и всё было возможно. И следующее время года наступало очевидно, радостно и неотвратимо, не дожидаясь конца предыдущего. Ещё не отшумел февраль, и полагалось быть ещё метелям и вьюгам, но это уже не тяготило и представлялось как уже прошедшее. А главное — это то, что приходит, почти пришло...

Егорка, а его все по-прежнему так звали, хоть он давно уже стал Егором Михайловичем, любил это время конца зимы. Оно возвращало его в далёкое детство, которое он провёл на даче у бабушки и открывал для себя мир — чудесный и не такой враждебный, как в городе, и где он чувствовал себя защищённым, хоть и не мог понимать всего как обычные здоровые люди. Но это было и не нужно: ему было там хорошо и казалось, так будет всегда и никогда не кончится...

Сначала его укладывали в большой плетёной корзине. Её ставили на железный остов старой коляски под окошком кухни, где стряпала его бабушка, так, чтобы за ним смотреть, не отрываясь от дела. Он лежал или сидел в этой корзине-коляске, закутанный одеялами, вокруг него струился чистый и будто сладкий воздух, и он дышал им, как пил его, наполняясь живительной силой. Было покойно и ничего не хотелось; он только жмурился от солнечного света, а когда солнце уходило, под шум сосен — засыпал. Маленький тогда ещё совсем, Егорка это своё первое эмоциональное впечатление помнил. То было блаженное состояние абсолютного счастья, и он, конечно, не сумел бы объяснить его, даже если б мог; то редкое и не всеми испытанное, случающееся иногда с человеком в детстве или старости полное растворение сознания и слияние его с миром, своей жизни — с жизнью всего, с чем-то, что внутри и вокруг нас всегда и чего мы не замечаем, не чувствуем, не видим и живём как слепые. Но Егорка сохранил это состояние чудесного растворения и погружался в него часто, особенно перед началом весны, когда природа будто вся раскрывалась и снова дарила, как в первый раз, надежды и радость. И высоко куда-то летели самолёты, и сердце щемило от их далёкого звука, напоминая ему о доме, где он вырос, и о бабушке...

Нет, первым эмоциональным воспоминанием было всё-таки другое: откуда-то сверху, где тепло и безопасно, он смотрит вниз, а там что-то яркое, горячее, как большой «огненный глаз», который пугает, — электрический обогреватель, рефлектор, как раньше говорили, и где-то рядом мама, он не видит её, но чувствует, и поэтому не так страшно... Это в городе. А позже — то зимне-весеннее, которое не покидало его никогда, и он застывал так, вдруг и некстати для окружающих, с блаженной улыбкой и отсутствующим взглядом светлых, почти прозрачных глаз, слегка кривя обветренные губы...

Но всё же то, второе, воспоминание было самым стойким и волнующим, может быть, потому, что впервые его привезли на дачу как раз в начале марта, и на следующий год опять — на воздух и солнце — до осени, в надежде, что он окрепнет.

И ещё в электричке он начинал беспокоиться, возбуждаясь от стука колёс, которые будто торопили время, волновали и тревожили, и сердце стучало сильно и неровно. А на перроне его сразу обдавало запахами ранней весны, чувством какой-то необъяснимой свободы и лёгкости, от чего он начинал широко улыбаться и мычать, а мама, стесняясь, торопилась скорее уйти с людного места и быстро — как они не падали! — спускала тяжёлую коляску с положенными прямо на Егорку сумками по скользкой лестнице вниз и вывозила на дорогу. И вот они так ехали, молча, одни, и это было тоже хорошо, а весь мир, бывший до этого, оставался позади и вовсе исчезал; малыш вдыхал чудный, ещё морозный воздух и крутил головой в такт поскрипывающим по снегу шагам матери. Дорога шла прямая, вдоль заборов, с дачами и соснами за ними: посёлок построили на месте когда-то густого соснового бора, а на другой стороне железной дороги был аэродром. И гудели невидимые самолёты, и гулко дурманили: «у-у-у»... По приходе в дом, опьянев от кислорода, он сразу засыпал прямо в коляске, так что у мамы с бабушкой было время, чтобы разобрать привезённые вещи.

А осенью надо было ехать обратно в город под наблюдение врачей поликлиники и проходить комиссии — для того только, чтобы выявить у него как можно больше отклонений, получать бесполезные лекарства и лежать в больнице с разыгравшимся очередным приступом. В ясли и детский сад таких детей не брали, а в специальные санатории, где-то очень далеко, попасть было невозможно. Медицинские «мытарства» выматывали и мать, и сына, и Егорке, конечно, не нравились. Ему нужно было совсем другое, и он показывал это всем своим «неадекватным» поведением, отчего диагнозы год от года не менялись, а только усугублялись.

* * *

Мама его после успешного окончания семилетки в поселковой школе уехала в город, где легко поступила в педагогическое училище, собираясь быть учителем, как и её мать — бабушка Егора. Окончив его с отличием (у неё были хорошие способности и искренняя вера в комсомол), вдруг передума-

ла и работать по специальности не пошла, а поступила в университет на филологический факультет. По окончании его, также с отличием, была приглашена на должность редактора в один из отделов довольно крупного журнала. Кроме того, она писала неплохие стихи, изредка печаталась и, возможно, даже выпустила бы свой сборник: стихов к тому времени накопилось достаточно, — но для этого ей не хватало практичности и решительности. Она с упоением занималась творчеством, была мечтательницей и идеалисткой, поэтому никак не могла найти себе избранника. От работы ей дали комнату, и через пару лет она сделала наконец свой выбор. Но к быту была не приспособлена, беременность и роды случились тяжёлые, стало не до стихов, и постепенно она писать перестала. Егорку поначалу очень любила, он был хоть и нездоровый, но желанный ребёнок от любимого человека, поэтому и не согласилась оставить его в роддоме, как врачи предлагали. А позже, когда всё яснее выявлялись его неполноценность и связанные с этим проблемы, справиться с выпавшим на её долю испытанием оказалось не по силам.

В их квартире было всегда душно, нерадостно и пахло лекарствами. Мама теперь брала работу на дом, чтобы сидеть с больным сыном, но тоже часто болела и плакала, закрывшись с головой одеялом (тогда ещё не вошёл в обиход привычный теперь диагноз «депрессия»), поэтому Егорка был предоставлен самому себе: сидел целыми днями в кроватке, перебирая непонятные ему игрушки, или спал. Спустя какое-то время, когда стало ясно, что он не говорит и не может ходить, и вряд ли когда-нибудь будет, отстучали на его медицинском заключении последнюю большую круглую печать, отвезли к бабушке и оставили навсегда.

Отца он не помнил совсем. Ещё в роддоме, когда сказали, что мальчик с отклонениями и с родовой травмой, тот испугался и пропал. Потом стал приезжать с подарками для новорождённого, был неестественно весёлый, во всё вникал и интересовался. Но на самом деле присматривался, как сын развивается и что врачи говорят. А они уже вскоре говорили, что надо помещать мальчика-инвалида в специальное медицинское учреждение, которое для таких детей и создано,

и что лучше родить нового ребёнка, здорового. Отправить Егорку к бабушке насовсем была его идея — он убедил жену, что она не справится, а ему надо работать, и что Егора всё равно заберут, поэтому лучше спрятать его на даче, и что «каждому по силам». Но сам к тёще никогда его не возил и там не навещал: боялся, чтобы не привыкли и не упрекали потом, и стеснялся к тому же своего сына на людях. Это был человек властный и деловой, из тех натур, которые предпочитают партнёров пассивных и зависимых, какой и оказалась его жена со своей тонкой нервной организацией, поэтому он имел сильное на неё влияние, убеждать и настаивать умел, а она его любила.

Когда Егорку отвезли, он ещё немного выждал, измучив её ожиданием, и через некоторое время вернулся. Детей на самом деле хотел, они пробовали ребёнка завести, но неудачно: выносить она не могла, выкидыши случались уже на ранних сроках. Сначала лечилась, а потом бросила. Её идеалы и мечты, представления о жизни и счастливой семье разбились на мелкие осколки, как зеркало, которое уже не склеишь, а других идеалов она найти не сумела. Здоровье и нервы были, действительно, слабые, и всё это вместе сильно отразилось на её хрупкой психике. В конце концов муж ушёл совсем, и они развелись. В этот год мама не навестила Егорку на даче ни разу.

* * *

Но он всё-таки потихоньку и постепенно пошёл, точнее, заковылял, сначала слегка качаясь, от напряжения высунув язык и цепляясь за бабушкин фартук, потом всё смелее. Но прошло ещё немало времени, прежде чем это стало его любимым занятием: он сосредоточенно, расставив руки и высунув кончик языка, ходил, волоча непослушные ноги, вперевалочку по садовой дорожке взад и вперёд, останавливался, приоткрыв рот и глядя вверх на невидимые самолёты, застывал так надолго в том своём блаженном состоянии, пока бабушка, обеспокоившись, не окликала его из окна, и снова, будто очнувшись, шагал. Конечно, «прогулки» были совсем короткими, долго он не мог, потом приходилось сажать его

скорее, чтобы не упал. То, что мальчик пошёл, было важным событием, но то, как он это делал, наглядно показывало его ущербность.

Не только воздух и покой способствовали его медленному, но всё же развитию. Баба Нина, «ба-а», как он её звал, а для соседей Нина Григорьевна, к тому времени уже вышла на пенсию и заботилась о нём с утра и до ночи. Ещё в первый год, когда у матери пропало молоко на нервной почве, оттого что муж ушёл, поила простоквашей, которую делала сама и возила в город каждую неделю, и потом говорила, что это от того, что молока не было, он, Егорка, такой «расквашенный». Потом всё же выписала на почте журнал «Здоровье», хотя читала только то, что касалось детских болезней. По утрам в кроватке делала с ним «зарядку» и массировала беспомощное скрюченное тельце своими сильными пальцами, а вечером мягко разглаживала ручки и ножки, чтоб тонус ушёл и чтоб спал спокойнее. Если, не дай бог, простужался, растирала нутряным салом и укутывала, чтобы пропотел и вся хворь ушла. Раз в неделю купала в железном корыте с отварами трав, потом поила мятным чаем с шиповником и горьковатой рябиной или калиной, замороженными с осени, говорила, что это самые лучшие витамины, при этом разговаривала с ним всё время и пела потихоньку, что он особенно любил.

На керосинке, а позже на плите, всегда держала кастрюлю с водой, чтоб застирать бельё или одёжку: мальчик долгое время ходил под себя и еду глотать не всегда мог — срыгивал, как младенец. Когда у него случались приступы, брала внука на руки и так ходила по дому, громко что-то говорила, причитала, будто гнала болезнь вон. Лекарства, которые мама привозила из города, она не признавала (разве что один порошок с водой вливала в рот, когда совсем худо было), но всё же не выбрасывала, а прятала в углу верхней полки в шкафу на всякий случай, на тот, когда её внук останется один...

Конечно, сама бы она не справилась. Помогал ей брат — дед Фёдор Григорьевич, тоже пенсионер, контуженный в войну и без ноги. Был он к тому же слабым от рождения, и Нина часто думала, а не он ли передал Егорке эту «болезнь». Нередко смотрела на брата с болью и упрёком, но потом вспоминала,

что их мать просила её перед смертью позаботиться о Фёдоре, а других братьев и сестёр уже не было — все умерли. Она и заботилась, а он тоже помогал, чем мог. Поначалу, правда, выпивал и пропадал по суткам неизвестно где; один раз его забрали в милицию, хотели выслать на север и даже угрожали отправить в лагерь как инвалида-бродяжку. Но сестра Нина отстояла: быстро собрала все документы и прописала брата у себя в доме. С тех пор он пить бросил и всё старался ей угодить.

Жил дед в небольшой, как каморка, комнатке с маленьким закоптевшим от курева окном, где всегда было дымно и темно. Ходил в одном и том же ватнике-телогрейке, армейских шароварах, валенках с галошами и старой шапке-ушанке, а летом в застиранной гимнастёрке, армейских брюках и в серой кепке на маленькой с редкими волосами голове. На левой ноге был высокий, до колена, кожаный чёрный протез в сапоге, тяжёлый и всегда скрипевший при ходьбе; одной рукой дед опирался на костыль, а в другой что-нибудь нёс; во рту почти всегда торчал мундштук с дешёвой папироской, то дымящей, то потухшей. Так и за продуктами на станцию ездил, на почту, телеграф (мобильные телефоны и компьютеры тогда ещё не появились), а местные мальчишки его частенько дразнили и пакостничали: вырывали костыль или то, что нёс, из рук и бросали подальше; так и воду носил из колодца, и дрова рубил для печки до тех пор, пока в посёлок газ наконец не провели и не поставили отопительные агрегаты. Стоило это, правда, не дёшево, но дед был ветеран войны, а бабушка — труда и заслуженный работник дошкольного образования. Вышло почти бесплатно. Хотя Нина Григорьевна ещё долго привыкала к такому «городскому удобству», продолжала часто топить печь, которая «тепло живое давала», а агрегата боялась, что он взорвётся. Егорка тоже печку любил и всё гладил её белую стену, пока та остывала...

По праздникам дед надевал китель с медалями, но без погон, ремня и петлиц, и крепил красный флаг на козырьке крыльца. Несколько раз его приглашали в поселковый совет для вручения награды к очередной годовщине Победы, потом он шёл в пельменную и там праздновал. Домой приходил

слегка навеселе, важный, всё время смеялся, не выпуская мундштука изо рта, есть отказывался и шёл спать. Они — сестра и брат — были непролетарского происхождения, но сестра Нина старалась об этом не вспоминать, а брат Фёдор после контузии просто всё забыл. Трудно им приходилось, однако они никогда не жаловались и жили как все, без обид и упрёков.

* * *

В начале осени, через полгода после того, как дочь её привезла сына насовсем, заявилась к ним детская медсестра и велела прийти с Егоркой в поликлинику, «чтобы оформить, а то не положено». Откуда они узнали, что внук живёт у бабушки, было неясно, но Нина Григорьевна сразу поняла, о чём речь, и идти отказалась. Тогда через неделю пришла целая комиссия: врач и две чиновницы — из районо и отдела соцобеспечения. Егорка спал, Нина Григорьевна не позволила его будить, сказала, что только дала лекарство, они постояли-посмотрели и пошли с ней в другую комнату. Разговор с «гостями» был тяжёлый: о том, что такому ребёнку надо быть в специальном интернате, которые для таких детей государство и строит, заботясь об их благополучии, а не в доме без удобств и без надлежащего медицинского присмотра; что мать вон поняла, что не справится, отдала сына ей, а она, бабушка, слишком много на себя берёт, думая, что умнее врачей, и не для того ли только, чтоб денежки с государства тянуть — пособие на внука получать... На что Нина Григорьевна отвечала, что очень уважает политику государства в отношении детей-инвалидов, но пытается помочь ему, государству, то есть, взяв на себя заботу об ещё одном больном ребёнке, всю ответственность, как заслуженный работник дошкольного образования, берёт на себя, напишет любое заявление и что, если на то пошло, может отказаться от пособия... В общем, была как скала и внука не выдала. Пригрозили и ушли.

На следующий день Нина Григорьевна дала брату денег и послала на станцию. Дед купил большую коробку конфет, которую та спрятала. А ещё через неделю опять пришла соцработник, но в этот раз одна. Соседка увидела и успела

предупредить. Баба Нина посадила Егорку на диван, дала пряник сосать; гостью встретила радушно и повела на терраску чаем поить, с вареньем, яблоками и наливочкой. Хлопотала вокруг неё и при этом рассказывала, как они хорошо живут, что Егорка у неё всё равно что на курорте; показала свои медали и грамоты и сказала, что очень благодарна ей, соцработнику, за внимание. Бланк, который та вынула из портфеля, «об ответственности», внимательно прочитала и подписала, не раздумывая. Под конец раздобревшей чиновнице вручила коробку конфет и 75 рублей, завёрнутые в бумажку, — все свои деньги.

После этого больше никто уже не заявлялся. Но Нина Григорьевна ещё долго потом мучилась и ждала, что придут, ночами не спала, стала двери даже днём запирать, чего раньше никогда не делала, и держала в шкафу коробку конфет, а на калитку дед навесил большой крепкий крюк для запора.

Только два раза — весной и на следующую осень — соцработница эта пришла опять, «в гости»: чаю попить и «презент» получить.

* * *

Когда приезжала мама, а приезжала она всегда без предупреждения, в смысле, телеграммы не давала, и редко, Егорка начинал капризничать и вообще вёл себя плохо. Бабушка еле могла его успокоить. Наконец, заняв его подарками — игрушками, сладостями и разными обновками, уходила с дочерью в другую комнату, где они долго разговаривали, часто кричали, а мама плакала. Они были совершенно разные, мать и дочь: Нина Григорьевна — волевая, решительная, собранная, хотя и не понимала многого в ней, но всегда гордилась её прошлыми литературными успехами и жалела очень. И комнату дочери всегда держала прибранной на случай приезда.

Потом все кое-как пили чай, бабушка включала телевизор (Егор, правда, ничего не понимал, только мультфильмы любил и всегда смотрел, открыв рот, на прыгающих и разговаривающих зверюшек, а бабушка подходила и вытирала платком слюнки, капающие прямо на чистую рубашечку) и шла провожать маму до калитки. Мать никогда не оставалась

ночевать. Вернувшись, баба Нина была весёлая, укладывала внука спать, а потом всю ночь думала, вздыхала тяжело, сдерживая слёзы, и засыпала только под утро.

Когда мальчик подрос, то стал прятаться от мамы в ду́ше во дворе за домом — летом, и на террасе за шкафом — зимой. Вытащить его оттуда было невозможно. Когда же он выходил сам, то не хотел брать мамины подарки. Бабушка ему потом потихоньку конфеты или печенье подкладывала к чаю, вроде бы это дед купил. А один раз он бросил большой игрушечный самолёт в окно. Это было очень странно, так как самолёты Егорка очень любил, а поездов боялся (его всегда старались поскорее увести со станции: от пролетавших мимо скорых он вздрагивал и кричал). Бабушка очень ругалась и даже наказала его. Он молчал и не плакал. Он вообще с некоторого времени не плакал, только кривил рот, жмурил глаза и сопел. И каждый раз потом, вечером, бабушка ему говорила про мать, какая она слабенькая, талантливая и несчастная, и что она любит Егорку, но ей надо жить, а чтобы она жила, баба Нина Егорку растит. Он мало чего понимал из её слов, но ему было почему-то очень плохо, и ночью во сне он опять кричал...

* * *

У мальчика было что-то вроде музыкальных способностей, на это ещё мама обратила внимание, когда он качал головой в коляске в такт шагам и мычал, и сказала бабушке. И баба Нина стала учить его петь, хлопать в ладоши и прыгать через палочку, и называла это музыкальной физкультурой — для развития координации и прочего, наподобие ритмики. Опыт работы с детьми у неё был большой; Егор «учёбу» очень любил и мог заниматься долго, хотя пел только «по-своему»: что-то своё и только на «а-а», что также обозначало и «я». Но это было уже началом речи — и потому огромным достижением. В ладошки хлопать он не попадал — промахивался, а прыгать через палку боялся. Поэтому бабушка разрешила ему хлопать по коленкам или по столу, а прыгать на месте, без палочки: клала её перед собой, и Егорка кое-как «прыгал» — к бабушке.

Выявились и музыкальные предпочтения мальчика: он любил только красивые лирические или весёлые песни, танцы, и на удивление Нины Григорьевны сам делал какие-то движения — «танцевал». Героическую же, драматическую музыку не переносил, начинал беспокоиться, а иногда и кричать. Зато, когда капризничал и не хотел что-то делать или испуган был чем-то, стоило бабушке запеть тихо что-нибудь ему знакомое — тут же успокаивался.

Книжки детские с красивыми картинками и большими буквами она тоже, конечно, ему читала. Но Егор смысла не понимал, быстро уставал и начинал дремать, склонив голову на бабушкино плечо. Поэтому, когда ей надо было хозяйством заниматься, раскладывала их на диване, чтобы он картинки смотрел и не мешал. Но страницы переворачивать у него получалось плохо, да и картинки были ему не очень понятны, и он сидел так без толку, шуршал, а иногда рвал бумагу, поэтому она стала давать ему старые журналы, которых было не жалко.

Ещё Нина Григорьевна, как педагог со стажем, не могла не учить внука хоть немного, но всё же навыкам письма, чтения и счёта, держать карандаш — на это ушло очень много времени, — а потом даже и рисовать палочки. Но, как ни билась, Егорка «писал» двумя руками: левая помогала правой, чтобы карандаш не заваливался и не падал. Но всё же у него это выходило лучше, чем говорить. Счёт выучил только до двух, показывал на себе и бабе: два глаза, один нос, рот, два уха, две руки и т.д. Когда дошло до букв, заупрямился и стал капризничать, поэтому только одну и выучил — «о»; ему нравилось открывать рот и вытягивать губы, так, что получалось больше «у». Он часто выводил пальчиком или карандашом по бумаге, по столу, по спинке дивана, по двери или по табуретке неровные дуги и гудел: «о-у!» Наверное, это походило на гул самолётов, что он так любил, поэтому так их тоже и называл, и сердился, мотал головой и кричал, если пытались переучить.

Себя называл «и-о-о» — «Его-ор». Согласные произносить ему было трудно. Но баба Нина всё равно очень гордилась достижениями внука. Она писала изредка письма дочери,

а в конце Егор рисовал не без её помощи дугу — букву, похожую то ли на «е», то ли на «о», которую она поправляла потом втайне от него и тогда только заклеивала конверт. Получала письма и от дочки, и раз в месяц на почте денежный перевод — алименты от бывшего зятя.

* * *

Иногда Нина Григорьевна устраивала себе «выходной», как она говорила. Доставала старый альбом с фотографиями, усаживалась за обеденный стол, предварительно вытерев его тряпкой, стелила газету на всякий случай, чтобы крошки или что другое не попало, раскрывала альбом и начинала всё же «вспоминать»... Сначала про себя, а потом, всё более увлекаясь, вслух: разговаривала с «персонажами», как с живыми, перемежая разговор восклицаниями, качанием головой и вытиранием потевших от переживаемых эмоций очков. Совсем старые, выцветшие изображения разглядывала без стёкол, поднося их к близоруким глазам. Рассказы-воспоминания были о детстве, родительском доме в далёком приморском южном городе, большой и совсем не бедной семье, друзьях и родных, сгинувших в лихие годы перемен... Были фотографии и рассказы о новом времени — о том, как уехала в большой город работать, чтобы деньги родным посылать после разорения их новой властью, как училась, занималась по ночам, и что сил на всё хватало, и какая у них была дружная компания, как стала потом руководителем и дали ей участок, где и построила она этот маленький дом...

Замуж Нина вышла поздно — всё некогда было, и несчастливо, что и передалось, как бывает, «по наследству» её дочери. О муже никогда не говорила, только долго молча смотрела на маленькое почерневшее фото: супруга Нины Григорьевны репрессировали ещё до войны, так что толком они вместе и не жили, а после войны он пропал. Собственно, расписаться они не успели, потому что его взяли прямо перед выходом из дома, оставив уже беременную невесту на пороге одну. Дочку, которая родилась потом и отца не знала, Нина записала на свою фамилию, а когда та подросла, сказала ей, что он пропал без вести, и лучше об этом забыть. Позже стало

известно, что существовал «муж» в лагере неплохо и недолго, устроившись как-то хитро, по освобождении год воевал, потом женился на фронтовой подруге и уехал куда-то с новой семьёй. Нина его не искала и старалась не вспоминать. Но он всё же снился ей изредка — молодой, красивый, улыбающийся...

В отдельной коробке из-под обуви лежали письма и открытки, собранные в пачки и перетянутые резинками — от подруг юности и бывших сослуживцев из когда-то дружного большого педагогического коллектива. Баба Нина перечитывала их вслух с комментариями об адресате. Комментарии были всегда тёплые, одобрительные, а сами письма и открытки доставляли ей много радости: она всегда потом чувствовала себя бодрее и моложе и выполняла свои скучные хозяйственные дела быстрее и легче. Никогда не оставляла письма без ответа, если сразу не могла, то потом обязательно писала. Как правило, это были поздравления с праздниками. Для этого также устраивался «выходной». Нина Григорьевна опять подготавливала стол, раскладывала ручки и цветные карандаши, ластик, линейку, выбирала купленные заранее на почте открытки. Сначала любовалась ими, показывала внуку. Писала не быстро, старательно и красиво. Тексты всегда украшала рисунками: звёздочками, цветами, флажками, в зависимости от праздника и времени года. Те открытки, которые были с марками, посылались так, на другие марки наклеивала или вкладывала в конверт. Всё это хозяйство обычно приобретал на почте дед Фёдор: Нина писала на бумажке, что надо, а сдачу с покупки не брала.

Что касается Егора, то бабушка разрешала ему только смотреть, как она пишет, чтобы не мешал, и она, не дай бог, не ошиблась. Мальчику нравилось это «действо», он вёл себя тихо, иногда даже участвовал в процессе, подавая карандаши. Когда уставал, она давала ему тетрадный листок, и он вроде тоже «писал» письмо, но кончалось это тем, что бумага намокала от капавших слюнок, а руки и лицо были разрисованы. Баба Нина тогда закрывала свой «почтамт», как она говорила, вздыхала и шла отмывать внука.

* * *

Раньше, ещё до его рождения, Нина Григорьевна любила принимать гостей — в основном подруг, которых у неё было много, и бывших подчинённых, готовила пироги, ставила свою фирменную наливку из черноплодной рябины, что росла в саду, угощала ягодами и вареньем. Всегда за собой следила, была опрятная, в чистых, выглаженных блузках, которые шила сама, и с какой-нибудь недорогой брошкой на груди, прямая, статная — по многолетней привычке держала осанку, но гостей встречала очень тепло и без всякой гордости. Её любили, уважали, и многие ездили к ней перенимать педагогический опыт. Провожая, обязательно давала гостинцы: варенье и ягоды. Сама же в город собиралась редко: уставала от городской суеты и не хотела мешать дочери устраивать личную жизнь. И та почти не приезжала — не любила дачные «удобства». Потом, когда Егорка поселился насовсем, Нина Григорьевна вежливо всем написала, что принимать теперь не сможет, поскольку очень занята. На самом деле это и было так, но больше оттого, что она не хотела, чтобы видели бедного больного мальчика. Подруги это знали, сочувствовали и понимали. С тех пор общались по почте.

Сад у бабы Нины раньше тоже был чудесный, с цветами и чистыми дорожками, кустами роз, жасмина и сирени; она любила за ним ухаживать, вставала очень рано, полола, подрезала, подвязывала, поливала. С приездом внука стало не до сада, она только следила за деревьями и ягодными кустами, чтобы плодоносили, и держала небольшую грядку зелени. Сад постепенно зарос сорняками, но цветы — те, что понеприхотливее, — ещё выглядывали разноцветными головками и тянулись к солнышку. Егорка сидел летом на одеяле в высокой траве, так, что его почти не было видно, и всё рассматривал. Баба Нина не боялась оставлять его одного, знала, что ничего плохого не будет. Он вёл себя «правильно», глупостей, вроде живность мелкую в рот тащить или ветки ломать, не делал, наоборот, природу любил и как будто понимал что-то: тихо смотрел подолгу на бабочку, шмеля, птицу, белку, и они его не боялись — занимались своими делами совсем рядом. Цветы разглядывал тоже долго, словно

разговаривал, при этом головой качал и вытягивал губы, растопыривал пальцы и медленно крутил ладошками — «изображал», так ему всё нравилось. Это была воистину природотерапия, и сколько она давала счастья и жизни!

Нередко бабушка ходила с ним гулять и за калитку, для этого одевалась красиво, как раньше, и внука одевала получше — что сама шила или что мать привезла из города. Они шли за ручку до поворота, чтобы все видели, как Егор хорошо ходит, и со стороны выглядели совсем обычно. Потом, свернув в переулок, сажала его в коляску, а зимой — в санки. Коляска была самодельная, дед специально смастерил её для подросшего мальчика: прибил деревянную спинку и ступеньку к большой крепкой садовой тачке с большими колёсами, покрасил, сделал деревянную красивую ручку, а его сестра обшила «сиденье» куском материи от старого пальто и ещё подушечку подкладывала — получилось просто загляденье! И вот они ехали так по тихим улицам и добирались до речки.

Речка эта тоже уже почти заросла и заболотилась, но всё ещё журчала узким весёлым ручейком в зелёных низких берегах, где росли незабудки и другие маленькие белые цветы, похожие на звёздочки. Зимой речка не замерзала, только покрывалась тонкой корочкой, под которой было видно, как бежит вода. Бабушка и внук садились на пенёк или поваленное дерево и слушали речку, а он, положив голову на её колени, смотрел, как медленно плывут облака. Иногда бабушка рассказывала про природу, будто снова детям на уроке, забывая, что внук почти не понимает, но чаще молчала, вспоминала что-то своё, молодое... Близко подходить к воде ему не давала, только за руку: боялась, что провалится в топь или упадёт ненароком, если наклонится. Егор прогулки очень любил и часто засыпал у речки, где было тихо и покойно, даже ещё лучше, чем в их саду. Обратно бабушка его везла в коляске уже спящего и по дороге всё думала, думала... о своей жизни, быстро пролетевшей юности, о дочери, а потом — что обед недоварен, что трудно будет вносить внука в дом, так как он стал уже тяжёлый, и что будет с ними дальше...

* * *

На Новый год дед срубал где-то ёлочку, её ставили в ведро и прикручивали верёвками; бабушка доставала со шкафа мешок с игрушками, сажала Егорку за стол и велела подавать. Он брал и долго рассматривал, прежде чем подать, бабушка сердилась, но в шутку. Потом устраивала праздничный стол: пекла пирог с капустой, делала винегрет с солёными огурцами и ещё свою фирменную икру из свёклы, чтоб Егорка в туалет хорошо ходил, резала варёную колбасу, копчёный сыр и ставила бутылку лимонада. Но Егорке от него было плохо, голова кружилась, и он падал, поэтому пили лимонад дед и бабушка, а Егорке наливали в такую же бутылку компота из сухофруктов, добавляли туда сока лимонного и говорили, что это лимонад. Поскольку мальчик плохо жевал и ложку держал неуверенно, баба Нина всегда всё ему крошила в тарелку и помогала есть. Но в новогоднюю ночь торопиться было некуда, поэтому сидели долго, а дед телевизор смотрел аж до самого окончания передач, сестра еле выпроваживала.

Егорка уже давно спал на диване, Нина Григорьевна раздевала его и гасила свет. Потом доставала из буфета бутылочку той самой черноплодки, шла в дочкину комнату и выпивала рюмку-две. Её бросало в жар, она почему-то крестилась, хотя верующей не была, закрывала шкаф и долго ещё сидела, задумавшись, глядя в темноту за окном, где подвывал ветер и качались деревья, пугая движущимися тенями. А когда было ясно, смотрела на месяц и звёзды в тёмном зимнем небе: лунный свет падал на снег красиво и как-то причудливо, всё становилось будто ненастоящим, как декорации в театре, и оттого выглядело немного странно и нереально; только лаяла где-то, как всегда, и тоскливо подвывала собака, вечно привязанная на цепи... В такие минуты она слабела, теряла свою привычную устойчивость, и ясно вставал перед ней вопрос, как жить, и одиночество, и бессилие накатывало, и ужас... Наконец, взяв себя в руки, она закрывала занавески, включала свет и шла греть воду, чтобы помыть посуду.

* * *

Брат Фёдор Григорьевич умер, его похоронили на поселковом кладбище, где у них был свой участок. Дочка не приехала — болела. Помогли два ветерана да две церковные старушки: друзей у деда не было. Егорку, конечно, с собой не взяли, а уехали затемно, когда он ещё спал, попросили соседку посидеть на всякий случай. И та, когда Егорка проснулся, со страху ему сказала, что деда отправили воевать на Кубу, чтобы на неё «американцы не напали», а бабушка пошла его провожать. В то время по радио и телевизору много говорили о Кубе и Америке, других странах, показывали солдат, которые стреляли друг в друга в борьбе за свои идеалы, и мальчик часто слышал эти слова. Понял он что-то или нет, было неясно, но, когда потом видел солдат и слышал выстрелы с экрана, мычал и показывал пальцем: «Бу! дэт! бу! дэт!» — что баба Нина переводила как «дед на Кубе».

Осталась бабушка Нина Григорьевна одна, без помощника. Было ей страшно, одиноко, стала бессонница мучить, и поэтому она часто засиживалась допоздна перед телевизором.

Вот так, однажды зимним вечером, уложив внука спать, смотрела праздничный концерт, где выступали всенародно любимые артисты. Благодаря тому, что не спала, она и услышала какой-то треск за окном. Выглянула — и увидела оранжевые всполохи на снегу. Охнула, накинула платок и выскочила во двор. С другой стороны дома, за соседским забором, горел новый недостроенный сруб бани... Она стала кричать и побежала обратно в дом. Надела валенки, пальто, в карман сунула паспорт, подняла на руки сонного Егорку прямо в одеяле, зачем-то подхватила стоявшие у двери новые резиновые сапоги, которые недавно купила, — её гордость и побежала на улицу.

Пожар разгорелся вовсю. Пламя взлетало высоко вверх, освещая ночь и сосны, и снег был цветной; искры сыпались фонтаном, разлетаясь вокруг, падали за забор на её участок. Она вся дрожала, боялась, что от них загорится дом, и что ей никто не сможет помочь, смотрела как заворожённая, крепко прижимая внука, который проснулся, вертел головой и кричал. Хотя опасность казалась невелика — всё же дом

стоял далеко, и искры гасли в снегу, но тушить пожар было некому: глазели у забора лишь двое стариков, и соседка только голосила. Да и поздно, спасти ничего уже было нельзя. Когда приехали пожарные машины, сруб тихо догорал; они полили на всякий случай, пока пламя, шипя, будто уползло внутрь, и дым, чёрный и серый, потянулся зловещим змеем вверх, и уехали... Случись пожар летом, неизвестно чем бы закончилось. Дом — это всё, что у неё было. И она всем потом говорила, какая она трусиха и какая глупая, что взяла только сапоги...

Стресс, который Нина Григорьевна пережила тогда, подорвал её здоровье и истощил запас физической и душевной энергии, который она так самозабвенно тратила на любимого внука. Хотя заметно это стало не сразу. Но ни раньше, ни потом дочь свою о помощи не просила — то ли потому, что была гордая, то ли потому, что обижена была, или всё жалела её, да и знала, что помощи никакой не будет.

* * *

Мальчик рос, а сил становилось всё меньше, тяжелее стало справляться с заботами. Старость подступала неотвратимо, и баба Нина, здоровая и крепкая от рождения, начала болеть. Всё реже была весёлая, открытки свои писать почти перестала и нередко покрикивала на внука. Но Егор совсем не обижался, не пугался и даже будто не замечал перемен. Бабушка научила его кое-каким действиям: носить, что полегче, на стол и обратно, шапку надевать, дверь открывать-закрывать за ручку, с крыльца спускаться и забираться обратно, яблоки с земли подбирать, воду возить и ещё много всего. Качала тяжёлый колодец, конечно, она, он только держался за ручку, но это ему очень нравилось; полное ведро бабушка поднимала на тачку или санки, и они везли вроде как вместе. А ещё на почту за деньгами ходили, ну и за продуктами, а в непогоду на автобусе ездили. Это было самое трудное: зимой автобуса ждать, забираться в него по высоким скользким ступенькам с санками и так же спускаться; потом долго выстаивать очередь в магазине, где было всегда душно и шумно, а без очереди никого не пускали; покупать сразу много

всего, чтобы лишний раз не ездить, и тащить потом тяжёлую сумку и санки с еле живым от такого путешествия Егоркой. Но всё равно Нина Григорьевна одевалась «в поход», как она говорила, получше и внука старалась одеть хорошо, вела себя строго, чтобы Егор слушался и не отвлекался, а другим не давала никому его обижать. Обычно она не вступала в спор, только скажет слово-два и отвернётся, прижав Егорку к себе. Делала это она с таким достоинством, что всякие разговоры и нападки прекращались...

Зиму пережили еле-еле, питались скудно, в магазин только раз собрались, потому что Нина Григорьевна упала прямо у себя на пороге и сильно ударилась головой, так, что больше ездить не могла и под конец зимы слегла совсем.

...Уже была весна, и солнце ярко светило на постель, золотя седые, выбившиеся из-под платка, волосы. Егорка сидел сначала на стуле, всё ждал, когда она встанет. Потом вдруг слез на пол, надел шапку, а сапоги не смог, и заковылял прямо так к соседке сквозь проход в заборе, который специально для него на такой случай и сделали. Сначала стоял, пытался посмотреть в окно, но было высоко. Соседка увидела, вышла. Егор открыл рот, запел, как бабушка учила, — «а-а!» и стал махать руками. Женщина сначала ничего не поняла, принялась спрашивать, а Егорка головой крутил и всё пел: «ба, а-а, ба, а-а...» — говорил он плохо, и выразить желаемое ему было трудно, бабушка одна его всегда понимала...

Нину Григорьевну на скорой увезли в больницу, оттуда позвонили дочери. Соседка сначала забрала мальчика к себе, сказала ему, что бабушку тоже отправили на Кубу к деду — больше ничего придумать не сумела. Коробку с лекарствами для Егора она нашла там, где баба Нина ей и показывала, когда стала плохо себя чувствовать. Раскрошила таблетки ему в кашу, иначе глотать он не мог и не хотел, забыл эту медицину совсем. Через день за сыном приехала мать и увезла в город.

Бабушка, не придя в сознание, вскоре умерла, похоронили её рядом с братом, на поселковом кладбище. Провожающих, кроме дочери и соседки, не было: почти все подруги Нины

Григорьевны уже умерли, другим не сообщили, да и не знала дочка никого. На похороны Егорку, конечно, опять не взяли, дали лекарство и оставили в городской квартире одного спать. Когда вернулись, он уже был без сознания — разыгрался его давний приступ. В больнице еле откачали.

Дом в посёлке на время заколотили, продать его дочь не решалась, а жить там без городских удобств не хотела. Её недавно появившийся новый друг увлекался астрологией, парапсихологией, экстрасенсорикой и другими подобными диковинными тогда вещами, ещё только входившими в моду, а также фантастической литературой. Увлеклась и она, но поверхностно, хотя что-то читала, интересовалась разными необъяснимыми явлениями: это отвлекало от болезней, тяжёлых мыслей и заполняло пустоту жизни, рисуя чудесные картины какого-то другого мира...

То, что её мать когда-нибудь умрёт и ей придётся одной заботиться о сыне-инвалиде, она, конечно, понимала, но старалась не думать об этом, спрятав страшную мысль глубоко в сознании. Она всегда была «слабенькой», как говорила бабушка, и сама нуждалась в помощи, а случившееся горе стало слишком тяжёлым и физически, и психологически.

* * *

Три месяца до лета Егор жил с мамой в городе. Как с ним обращаться, она уже не знала, а если б знала, то не сумела бы: контакт у него был только с бабушкой. А он, конечно, по ней скучал, и по даче, и вёл себя совершенно неуправляемо, даже агрессивно, что вообще ему свойственно не было. А иногда лежал и не хотел вставать, не реагировал на слова, еду опрокидывал и частенько ходил в постель — вернулся ко всем несчастьям ещё и энурез. При этом приступы тоже возобновились, и «скорые» замучились ездить. После инъекций он спал долго, почти сутки, поэтому и проводил все дни большей частью в кровати.

Силы на всё это нужны были огромные, и любовь. Но что чувствовала молодая ещё женщина к ребёнку, который был её болью и причиной распада семьи? И это был её сын, и другого не было, а она потеряла его, отдав бабушке, а потом по-

теряла и её... Совершенно изведённая мучительной для себя ситуацией, она в конце концов не выдержала и дала согласие. Друг её составил гороскоп, по которому выходило, что Егор не должен жить с ней. И отправили Егорку сначала в детский специнтернат, где его быстро «успокоили», а позже, когда исполнилось 18 лет, — во взрослый за городом, в сосновом бору. За два года до этого пересмотрели ему группу на основании того, что «состояние улучшилось», в связи с чем коляску не выдали, а пенсию понизили.

В этом интернате он совсем угомонился, может быть, оттого, что оказался опять на природе, а может, оттого, что закололи препаратами. Во всяком случае, он вёл себя тихо, и его даже любили. К телевизору, правда, почти не пускали, потому что, когда концерт передавали, начинал подпевать громко, на свой лад, и всем мешал, а если показывали солдат и стрельбу или фильм про войну, очень волновался и кричал: «Бу! дэт! ба-а!» Все думали, что он говорит «будет бах!», то есть «война», махали на него руками и прогоняли: «Типун тебе! вишь какой, война будет... Была уже, хватит нам!» И никто, конечно, не догадывался, что он говорил на самом деле, а объяснить он не мог и начинал кричать. Его тащили в процедурную и делали укол. Он успокаивался и вскоре засыпал.

...Телогрейка, которую выдали Егору в интернате на зиму для «трудотерапии» — уборки территории, — была похожа на ту, которую носил дед Фёдор Григорьевич. И Егорка, Егор Михайлович, стуча деревянной лопатой по земле, хотел это всем сказать. Останавливал кого-нибудь и мычал: «Я — дед», — но выходило «а — дэт!» И его опять не понимали и думали, что он говорит «одет». Он одет, и ему нравится; люди кивали, говорили: «Ну и хорошо, Егорка, иди себе, иди, одет ты, хорошо!» А он, ковыляя по дорожке, всё продолжал: «А — дэт, а — дэт!» — смеялся и хлопал себя по ватнику. Потом садился на грязную от почерневшего снега скамейку и, как всегда, долго, улыбаясь, смотрел в небо... Глаза слезились от света, и по узким небритым щекам бежали тонкие полоски. Сосны качались без ветра, слышался гул самолёта, и солнце было тёплое, как всегда перед весной...

Светлана Бестужева-Лада

г. Москва

СОВЕТСКИЙ ИВАН СУСАНИН

В Москве на одной из платформ станционного зала станции метро «Партизанская» (бывшая «Измайловский парк») стоит памятник — пожилой бородатый мужчина в шубе и валенках вглядывается куда-то вдаль. Мало кто останавливается прочитать надпись на постаменте, да и вообще москвичи в метро давно уже не разглядывают интерьеры — некогда.

А между тем это памятник человеку, имя которого во время Отечественной войны знала вся страна. О нём писали книги, очерки, слагали стихи и песни — о «Советском Иване Сусанине», ставшем Героем Советского Союза в 83 года.

21 июля 1858 года в селе Куракино Псковской губернии в семье крепостного крестьянина родился мальчик, которого назвали Матвеем. Правда, крепостным он пробыл менее трёх лет. Но отмена крепостного права в феврале 1861 года в жизни крестьян Псковской губернии мало что изменила — личная свобода не избавила от необходимости тяжёлого труда без выходных и с редкими праздниками.

Когда пришла пора, выросший Матвей женился, обзавёлся детьми. Первая жена Наталья умерла в молодости, оставив сиротами двух детей. Вдовец привёл в дом новую жену — Ефросинью, подарившую мужу ещё шестерых. Был он крепок и здоров — младшая дочь Лидия родилась в 1918 году, когда отцу стукнуло 60 лет.

Матвей пережил трёх царей, войну и революцию, ничего не меняя в раз и навсегда установленном порядке жизни. Ему было 74 года, когда власти выправили ему первые в жизни официальные документы, в которых значилось «Матвей Кузьмич Кузьмин». До той поры все звали его просто Кузьмичом, а когда возраст перевалил за седьмой десяток — дедом Кузьмичом.

Коллективизация тоже не коснулась Матвея Кузьмича. Даже когда в колхоз вступили все, кто жил рядом, Матвей меняться не захотел, оставшись последним единоличником во всём районе. За такое упрямство вполне мог серьёзно пострадать, тем паче, что односельчане деда недолюбливали, звали за глаза «бирюком» и «контриком». Общительным его действительно назвать было трудно, а характер у него сызмала был жёсткий.

Однако беда прошла стороной. Видимо, суровые товарищи из НКВД решили, что делать «врагом народа» 80-летнего крестьянина — это уже ни к чему. К тому же в кулаки его записать тоже было невозможно: ни земельных угодий, ни сколь-нибудь значительного количества домашней скотины дед Кузьмич не имел: обработке земли предпочитал рыбную ловлю и охоту, в которой был большой мастер. Дети, конечно, стали колхозниками, а старик сразу после смерти жены перебрался в небольшую избушку на отшибе от деревни.

Когда началась Великая Отечественная война, Матвею Кузьмину было почти 83 года. Уже в августе 1941 года деревня, где жил дед Кузьмич, была оккупирована гитлеровцами. Многие соседи спешно эвакуировались, но Кузьмич с семейством предпочёл остаться. Немцев он не то чтобы не боялся — просто не замечал: одной властью больше, одной меньше...

Впрочем, семейство значительно уменьшилось — две дочери вышли замуж и переехали к мужьям, один из сыновей работал на Локомотивовагоноремонтном заводе в Великих Луках, второй — на мельничном комбинате, младшая дочь — на мясокомбинате. Но всё-таки Кузьминых в деревне оставалось ещё несколько семей.

Немцы пришли в деревню Куракино 26 августа 1941 года. В школе, где учились и Матвеевы дети-внуки, заработала местная комендатура, а сам херр комендант выбрал себе избу Кузьмина, выселив несговорчивого старика с семейством в сарай.

Немецкие власти, узнав о чудом сохранившемся крестьянине-единоличнике, который к тому же чурается общения с односельчанами, вызвали его и предложили стать

деревенским старостой. Лучшей кандидатуры, по их мнению, было просто не найти.

Матвей Кузьмин поблагодарил немцев за доверие, но от должности отказался — дело-то серьёзное, а он и глуховат стал, и подслеповат, да и не любят его в деревне, никакого уважения оказывать не будут. Доводы старика гитлеровцы посчитали вполне убедительными и в знак особого доверия оставили ему его главный рабочий инструмент — охотничье ружьё.

В начале 1942 года, после окончания Торопецко-Холмской операции, неподалёку от родной деревни Кузьмина заняли оборонительные позиции части советской 3-й ударной армии. В феврале в деревню Куракино прибыл батальон немецкой 1-й горнострелковой дивизии. Горные егеря из Баварии были переброшены в этот район для участия в планируемом контрударе, целью которого было отбросить советские войска.

Не знаю, отмечали ли в те поры немцы день св. Валентина, но на том участке фронта очередную пакость нашим они решили устроить именно 14 февраля 1942 года: стоявшему в Куракино батальону 1-й горнострелковой дивизии была поставлена задача прорваться в тыл Красной Армии, чем облегчить контрнаступление в районе Малкинских высот.

Перед отрядом, базировавшимся в Куракино, была поставлена задача скрытно выйти в тыл к советским войскам, находящимся в деревне Першино, и внезапным ударом нанести им поражение. Для осуществления этой операции нужен был проводник из местных, и немцы вновь вспомнили о Матвее Кузьмине.

Командир батальона потребовал от Кузьмина провести его батальон к деревне Першино. Требование было подкреплено предложением нескольких тысяч рублей, а также муки, керосина и превосходного охотничьего ружья Sauer со знаменитым логотипом «три кольца». Устоять, по мнению немцев, было невозможно — и полученное после некоторой торговли согласие Матвея показалось им вполне разумным поступком умудрённого жизнью человека.

Старый охотник осмотрел ружьё, по достоинству оценив «гонорар», и ответил, что согласен стать проводником. Он

попросил показать место, куда точно нужно вывести немцев, на карте. Когда комбат показал ему нужный район, Кузьмич заметил, что никаких сложностей не будет, поскольку он в этих местах много раз охотился.

Слух о том, что Матвей Кузьмин поведёт гитлеровцев в советский тыл, мигом облетел деревню. Пока он шёл домой, односельчане с ненавистью смотрели ему в спину. Кто-то даже рискнул что-то крикнуть ему вслед, но стоило деду обернуться, как смельчак ретировался — связываться с Кузьмичом и раньше было накладно, а теперь, когда он был в фаворе у фашистов, и подавно.

В ночь на 14 февраля немецкий отряд, который вёл Матвей Кузьмин, вышел из деревни Куракино. По прямой по карте до Першино было каких-то 6 километров пересечённой местности, но батальон с полной выкладкой топал местными лесными тропами уже несколько часов. Командир батальона, пытавшийся контролировать маршрут, плюнул на карту и компас — ему не оставалось ничего другого, как довериться проводнику.

Они шли всю ночь тропами, известными только старому охотнику. Наконец на рассвете Кузьмич вывел немцев к деревне. Правда, не к Першино, о чём командир не знал, а к деревне Малкино. Но прежде чем они успели перевести дух и развернуться в боевые порядки, по ним вдруг со всех сторон был открыт шквальный огонь бойцами 2-го батальона 31-й отдельной курсантской стрелковой бригады под командованием полковника С. П. Горбунова, в боевое охранение которой несколько часов назад вышел внук Матвея...

Ни немцы, ни жители Куракино не заметили, что сразу после разговора деда Кузьмича с немецким командиром из деревни в сторону леса выскользнул один из его внуков, одиннадцатилетний Василий...

Мальчик, знавший местность не хуже деда, вышел в расположение 31-й отдельной курсантской стрелковой бригады и сообщил, что у него есть срочная и важная информация для командира. Его отвели к командовавшему бригадой полковнику Горбунову, которому он и рассказал то, что велел передать дед, — немцы хотят зайти в тыл к нашим войскам

у деревни Першино, но он выведет их к деревне Малкино, где и должна ждать засада. Чтобы выиграть время для её подготовки, Матвей Кузьмин всю ночь водил немцев окольными дорогами, на рассвете выведя их под огонь советских бойцов.

Командир горных егерей понял, что старик его перехитрил, и в ярости выпустил в деда несколько пуль. Старый охотник опустился на снег, окрасившийся его кровью...

Немецкий отряд был разбит наголову, операция гитлеровцев была сорвана, несколько десятков егерей были уничтожены, часть попала в плен. Среди убитых оказался и командир отряда, который застрелил проводника, повторившего подвиг Ивана Сусанина.

О подвиге 83-летнего крестьянина страна узнала почти сразу.

24 февраля 1942 г. — от Советского Информбюро:

«Гитлеровский офицер вызвал жителя деревни К. 80-летнего Кузьмина Матвея Кузьмича и приказал ему скрытными путями провести многочисленную группу немцев в расположение боевого охранения части. Собираясь в дорогу, Кузьмин незаметно для немцев поручил своему 11-летнему внуку Васе пробраться к советским войскам и предупредить их о нависшей опасности.

Долго водил тов. Кузьмин заклятых врагов по оврагам, кружил по кустарникам и перелескам. Вконец усталые, продрогшие, немцы неожиданно для себя очутились под пулемётным огнём. Советские пулемётчики, заранее предупреждённые Васей, в упор расстреливали гитлеровцев. Поле покрылось трупами. Более 250 немецких солдат нашли здесь себе смерть. Когда немецкий офицер увидел, что его отряд попался в ловушку, он застрелил старика. Героический подвиг славного советского патриота Матвея Кузьмича Кузьмина никогда не забудут трудящиеся нашей великой родины».

Первым о нём рассказал военный корреспондент и писатель Борис Полевой в статье, напечатанной в газете «Правда». (Полевой оказался в этом районе и присутствовал на похоронах Кузьмина.)

Для фронта были выпущены листовки, в газетах и журналах о Кузьмине печатались очерки, рассказы, стихи. Ему

посвящали свои произведения писатели, поэты, скульпторы. Именем Героя Советского Союза Матвея Кузьмина были названы улицы во многих городах СССР (в частности, в городе Великие Луки его именем названа школа и улица). В его честь также назван советский (а теперь российский) траулер.

Первоначально героя похоронили в родном селе Куракино, но в 1954 году было принято решение перезахоронить останки на братском кладбище города Великие Луки.

Удивителен другой факт: подвиг Матвея Кузьмина был официально признан фактически сразу, о нём писались очерки, рассказы и стихи, однако в течение более чем двадцати лет подвиг не был отмечен государственными наградами. Возможно, сыграло роль то, что дед Кузьмич фактически был никем — не солдат, не партизан, а просто нелюдимый старик-охотник, проявивший великую силу духа и ясность ума.

Но справедливость восторжествовала. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, Кузьмину Матвею Кузьмичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина.

В 1965 году, когда Матвею Кузьмину присвоили звание Героя, у него было 36 внуков и правнуков. Сейчас их наверняка во много раз больше — около ста человек, разбросанных жизнью по всей России. В родном селе остались немногие.

В Великих Луках на могиле героя был установлен памятник, а на месте подвига у деревни Малкино, на «Малкинской высоте» — обелиск. Под скульптурным изображением Кузьмина на станции метро «Партизанская» (работа М. Г. Манизера) указано, что он повторил подвиг Ивана Сусанина.

Таким образом, 83-летний Матвей Кузьмин стал самым пожилым обладателем звания Героя Советского Союза со времени его учреждения. Но он был не самым старшим участником Великой Отечественной войны: на 4 года был старше него известный учёный, почётный академик АН СССР, директор Ленинградского Естественно-научного института

им. П. Ф. Лесгафта Н. А. Морозов, в качестве снайпера лично уничтоживший нескольких нацистов на Волховском фронте.

До семидесятых годов о «Советском Сусанине» много писали и вспоминали при каждой памятной дате. Но потом стали вспоминать всё реже и реже, а о родственниках героя позабыли совсем.

Несколько лет тому назад сотрудники газеты «Родина» решили пройти тропою Матвея Кузьмина. В Великолукском краеведческом музее к идее отнеслись довольно скептически.

— Хотите написать о подвиге Матвея Кузьмина? Копать под старика будете?

— Вы о чём?!

— Да тут уже и про Александра Матросова, он тоже на нашей земле погиб, чего только не сочиняют...

Идею «Родины» — пройти тропой Матвея Кузьмина — поддержали его немолодые внучки Валентина Ивановна Пугачёва и Любовь Васильевна Изотова, правнук Сергей Кузьмин и его семилетний сын Матвейка, праправнук героя. Примчались к месту встречи Миша с Ирой — дальние родственники...

«Экспедиция» выехала из Великих Лук. И через несколько минут оказалась в феврале 1942 года, за околицей деревни Куракино. Сейчас это по сути пригород Великих Лук. А до войны у Кузьминых здесь был приличный надел земли.

— *На этом месте стоял наш дом, но он сгорел во время войны,* — внучка Валентина Ивановна, опираясь на палочку, ведёт нас по улице. — *Борис Полевой написал, что дед был охотником, но это не так. Он из семьи плотника, его отец надорвался и умер, когда Матвейке исполнилось семь лет. И отцовский напарник взял его в ученики. Это мне мать рассказывала.*

По этой улице в феврале 1942 года куракинцы спешно уходили в соседнее Першино — немцы были уже близко, поступил приказ эвакуироваться. Матвей Кузьмин со своей немаленькой семьёй — шесть сыновей и две дочери — не успел вывезти все пожитки и вечером с сыном, взяв саночки, вернулся домой.

— *Вот на этой дороге немецкий отряд их и застукал,* — вступает в разговор внучка Любовь Васильевна. — *Пришлось остаться в деревне, но не в своей избе, там немцы расположились. А мы как могли в сарае устроились.*

На Малкинской высотке неутомимая Валентина Ивановна, проваливаясь по щиколотку в снег, идёт к краю оврага:

— *Даже сейчас здесь можно остатки окопов разглядеть. В них наши и ждали немцев. Вася, мой папа, мне рассказывал, что сначала немцы взяли его, хотели, чтоб он их в тыл к нашим провёл. Отцу было в ту пору 33 года, он уже четверых детей имел, и от армии у него была бронь, поскольку его оставили ремонтно-вагонный завод эвакуировать. Но дед схитрил, покрутил пальцем у виска, мол, сын-то у меня дурачок, потому и не в армии. И вызвался сам гитлеровцев проводить. Только успел шепнуть Васе, чтоб наших предупредил. Кстати, у Бориса Полевого Вася почему-то был представлен как 11-летний внук Матвея. Может, потому что роста маленького...*

А дед специально их долго по лесу водил, боялся, что Вася не успеет предупредить... Бой был ужасный. В одних материалах написано, что наши 50 гитлеровцев убили, в других — 250...

— *Когда семье сказали, что деда убили, Вася с братом вечером того же дня поехали с саночками за телом,* — продолжает внучка. — *Оказалось, что кто-то уже снял с Матвея валенки. Полевой написал, что он участвовал в торжественных похоронах с оружейными залпами. Но не было этого. Дед до весны пролежал в большом деревянном ящике, присыпанный снегом, во дворе у себя в Куракино. Мама мне рассказывала, что я всё время норовила заглянуть туда, а она меня стращала, что дед может к себе затянуть. Здесь же, во дворе, и похоронили его весной. И только в 53-м году прах перенесли на братское кладбище в Великих Луках.*

Правда, как правило, не так пафосна, как это видится беллетристам. Она жёстче.

Вместо постскриптума

Более ста советских людей повторили подвиг костромского крестьянина Ивана Сусанина, который в XVII веке завёл в непроходимые леса польско-литовский отряд.

В феврале 1942 года колхозник Иван Иванов из Серебряно-Прудского района Подмосковья направил гитлеровцев в глухой лес, откуда они не сумели выбраться. Посмертно награждён орденом Отечественной войны II степени.

Лесник Савелий Угольников зимой 1941/42 годов в Бельских лесах вывел немцев на минное поле. Такой же подвиг совершил в декабре 1941 года житель деревни Мухарево Псковской области Михаил Семёнов.

Селянин Яков Доровских из села Вязноватовка Воронежской области в феврале 1943 года направил отступавший немецкий полк с тяжёлыми орудиями по непроезжей дороге, где тот попал под налёт нашей авиации. Во время наступившей паники Якову удалось скрыться.

Подвиг Кузьмина получил такую небывалую известность лишь потому, что почти сразу после его гибели в Великих Луках оказался фронтовой корреспондент и писатель Борис Полевой. Но рассказанная им история гораздо красивее и увлекательнее действительности — «подавать материал» Полевой умел виртуозно. Про остальных же героев он просто никогда не узнал ни тогда, ни после войны.

* * *

Если будете в Москве на станции метро «Партизанская», остановитесь у памятника с надписью «Герой Советского Союза Матвей Кузьмич Кузьмин», поклонитесь ему. Ведь без таких людей, как он, не было бы сегодня и нашей Родины.

Ульяна Васильева-Лавриеня

г. Щёлково, Московская область

НЕМЕЦ

До отправления поезда оставалось около десяти минут, а я ещё только подъезжала к Павелецкой. Гонка была нешуточной, вариант «опоздала на поезд и поэтому не приехала» не проходил, мне кровь из носу нужно было успеть.

Буквально запрыгнув в последний вагон, я втащила в тамбур чемодан в тот момент, когда поезд тронулся. Грохоча колёсами чемодана по переходам, я в сотый раз корила себя за неосмотрительность и наивную веру в незыблемость расписания движения электричек. До своего вагона мне предстояло пройти почти весь состав. Через полчаса я всё-таки добралась до своего законного места. Попутчики уже удобно расположились в купе, к моменту моего появления все они переоделись в дорожную одежду, юноша с удовольствием вытянулся на верхней полке и читал книжку.

— О, пропажа нашлась, — откликнулась на моё запыхавшееся «ну здравствуйте» невысокая, приятной полноты светлолицая женщина. Алый румянец будто вытекал из ямочек на её округлых щеках. Светло-рыжие волнистые волосы подхвачены были обвязанной вокруг головы голубой шёлковой косынкой, кончики её забавно свешивались кроличьими ушками над высоким лбом. — А мы гадали, куда четвёртый пассажир подевался. Мы билеты-то сегодня в интернете покупали, свободных мест совсем не было. Нам вот с Алёшей повезло прямо, вчера-то вечером ничего на этот поезд не было. Может, бронь какую сняли. Мы-то уж думали, что на автобусе придётся ночь трястись.

Как водится, мы познакомились. Нина и её сын Алёша, обстоятельно скопированный природой с матери, ехали в гости к старшей сестре.

— А меня зовите просто дедом. Меня все дедом зовут. Мне так привычнее, я уже на своё кровное имя не всегда откли-

каюсь. — Старик улыбнулся, сверкнув белым рядом вставных зубов, особенно сильно выделявшихся на фоне смуглого лица, покрытого сеткой глубоких морщин. Его водянисто-голубые глаза, уже почти бесцветные, молодо поблескивали в золотистых лучах закатного мартовского солнца. Возвращался он из санатория, куда ему ежегодно «девочки из соцзащиты», как он выразился, выделяют в конце зимы путёвку.

Пожилой сухопарый высокий мужчина легко поднял мой тяжёлый чемодан и уложил его в багажный ящик, галантно, как заправский кавалер помог мне снять куртку и аккуратно повесил её на плечиках рядом со своей.

Под её распахнувшимися полами мелькнул серый пиджак и несколько рядов орденских планок, прикреплённых к нему широким прямоугольником.

— Какой богатый у вас «иконостас»... Вы военный? Офицер? А я смотрю: такая выправка, такие манеры...

— Не, я крестьянин. Самый что ни на есть крестьянин. А награды — то за войну, на пузе прополз половину Советского Союза и пол-Европы.

— Да вы что? — подал голос с верхней полки Алёша. — Вы воевали? Я ни разу вот так близко ветерана настоящего не видел; ну там на параде по телевизору, в школу на линейку приходят. А можно посмотреть ваши награды?

— Да чего уж, смотри, только ж это не сами медали да ордена, это планки, чтоб ежедневно носить можно было.

— Круто... А вы с первого дня на войне были?

— Не, мне в сорок первом было только шестнадцать, не брали на фронт малолеток.

— Прямо как мне сейчас. Расскажете, за что награды?

— Дорога дальняя, чего уж не рассказать. Только, миленький мой, не люблю я про войну вспоминать. Тяжёлое это дело, грязное, плохо пахнущее. И страшное. Я столько страху там за два года натерпелся, сколько потом за всю жизнь не получалось. И никакой романтики. Выжить бы да фашистов добить, вот и всё.

В полуприкрытую дверь купе постучали, и дородная проводница с видом классического коробейника внесла на блестящем подносе шоколадки, печенюшки, упаковки

«Доширака» и сувениры от РЖД, предложила нам чай, кофе. После её ухода, как-то не сговариваясь, мы зашуршали пакетами, извлекая на стол заботливо приготовленные для нас домочадцами бутерброды, прослоенные изумрудными листиками салата; чесночком и приправами пахнущие котлеты; отливающую медью зажаренную курочку и зелёные опалы маринованных огурчиков с налипшими на них ниточками укропа. В такт движению поезда громадными жемчужинами покачивались на расстеленной салфетке традиционные в дороге варёные яйца. Всё пространство купе заполнилось пряными, дразнящими аппетит ароматами.

Безучастным к нашим обеденным приготовлениям оставался только старик: откинувшись к спинке сиденья, он сосредоточенно разгадывал кроссворд, нацепив на нос аккуратные очки в тонкой золотистой оправе. Время от времени он переадресовывал вопрос нам, и тогда мы подсказывали ему свои варианты. Когда сервировка стола нашими с Ниной совместными усилиями была завершена, мы пригласили всех отобедать.

— Нет-нет, — запротестовал старик, — я не голоден. Я перед дорогой пообедал в санатории, вы кушайте, не смотрите на меня.

После наших настойчивых приглашений он сдался, смущённо посетовав, что ему поделиться с нами нечем: поиздержался на отдыхе, не рассчитал, и денег у него осталось только на то, чтобы добраться до дома.

— С барышнями прогулял, дед? Поди, на танцульки бегал да по кафе подружек водил? — не удержалась от шутки Нина.

— Ну что ж, и в кафе, было дело, пару раз заглянули. Я парень свободный, вольный, Мартушка моя меня покинула, так что ж мне, бобылём век коротать? — лукаво подмигнул старик. — На нашу пенсию разве ж разгуляешься?

— А про войну расскажете? — не унимался Алексей. — Вы кем были?

— Сначала пулемётчиком, а потом в разведроте до конца войны.

— И за линию фронта ходили? И пленных брали?

— Бывало, ходил. Чаще, правда, ползать приходилось,

иначе быстро подстрелят. И языков брал, орден Красной Звезды как раз за это получил. Мы важного генерала взяли с документами о предстоящем наступлении, тогда нас всех и наградили. Сам Жуков руку пожал.

— Можно я про вас сочинение напишу, нам про героя нашего времени задали. Это просто бомба будет, ни у кого из наших нет знакомого ветерана. Как вас зовут?

Алексей достал телефон, чтоб записать имя старика.

— Ну смутил ты меня... Прямо уж героя сделал. У нас выбора не было, вот и воевали. Ладно, записывай. Я Отто Генрихович Шварцберг.

— Ничёсе! — удивился Алексей. — Шварцберг? Вы из Прибалтики, да? Латыш?

— Чего ж сразу латыш? — насупился ветеран. — Немец я.

— Как — немец? — в голос удивились мы с Ниной. — Настоящий?

— А что в этом такого? Ну есть же русские, киргизы, украинцы, или там чукчи, евреи, белорусы. А что ж в немцах не так? — парировал старик.

— Как же против своих-то воевать пошёл? Тем более пулемётчиком, разведчиком? — спросила Нина. — Вон, генералов в плен брал. А как же будешь перед Господом ответ держать, что своих убивал?

Старик выпрямился, дрожащими руками нервно снял очки, потом надел их снова и, повернувшись вполоборота к Нине, будто задохнувшись, выдавил:

— Я немец, но не фашист. Какие ж они мне «свои»? Кому они «свои»? Я их сюда не звал, я их детей не расстреливал, их дома не жёг. — Даже сквозь загар было видно, как побледнело его лицо; желваки вздулись на скулах; тонкие, с крупными натруженными суставами пальцы, казалось, жили собственной жизнью, отдельно от ладоней, и теребили журнал кроссвордов.

Мы подавленно молчали. Мне было стыдно за проявленную бестактность, и я растерянно соображала, как разрядить сложившуюся ситуацию. Лицо Нины залило пунцовым румянцем, она испуганно часто моргала, Алексей ошеломлённо замер с телефоном в руке.

— Вот ведь судьба: всю жизнь оправдываюсь. А в чём — ума не дам. Мой прапрапрадед перебрался в Россию ещё при Екатерине, там, в Германии, у нас прямых родственников не осталось ни единого человека. Все и всё — здесь.

— Мы не хотели вас как-то обидеть, я вообще такая... Сначала говорю, потом думаю, столько проблем из-за этого. Вы простите меня, Бога ради, — наконец робко пролепетала Нина. — Честное слово, не подумавши брякнула.

— Да не вы первая мне говорите. Даже чтоб на фронт попасть, мне от моей национальности пришлось публично отказаться.

— Как так? — удивлённо воскликнул Алексей.

— Да вот так. В газете люди давали объявление, что я, такой-то и такой-то, официально отрекаюсь от моей принадлежности к нации, породившей фашизм и приносящей столько горя моей любимой стране и советскому народу, и прошу с этого дня считать меня таким-то и таким-то. Многие имена и фамилии меняли. Как жить с позорным клеймом? Это уже перед тем как я на фронт пошёл проситься, а до этого много чего испытать пришлось.

— Вот это да... — присвистнул Алёша.

— Жили мы на Волге; там, если знаешь, была Автономная Республика немцев Поволжья. Все мои предки были садовниками, выращивали плодовые деревья, но особенно у нас яблони хороши были, больше ста деревьев самых разных сортов. Отец мой дружил с Мичуриным, у него многому учился. У нас яблоня одна была, так на неё мои дед и отец около сорока сортов привили, и плодоносила она с начала июля до самых морозов. А цвела как, загляденье просто! И ульи под яблонями стояли, от пчёл деревья гудели. Яблоки мы не продавали, мы их в детские сады, приюты, больницы задаром отвозили. — Старик рассказывал про сад с такими вдохновением и любовью, что в какой-то момент я наяву ощутила тонкий аромат покрытого капельками утренней росы румяного, наливного яблока и сглотнула набежавшую слюну. — У нас дом был двухэтажный, каменный и с большим подвалом, ещё прадед мой строил. Яблоки там хранились до нового урожая. И ещё выращивали саженцы,

вот этим и жили. А что такое саженец вырастить? Это как младенца выпестовать: четыре года нянькаешься с ним — то прополка, то полив, то заморозки, то снегом завалит, то, наоборот, сушь морозная стоит, то летняя засуха, то наводнение, то мыши, то зайцы. А насекомьей заразы сколько — не перечесть.

Старик на минуту замолчал, будто собирался с мыслями, стоит ли говорить дальше. Вздохнул, глядя в сумеречное заоконное пространство, а его натруженная, мозолистая рука непроизвольно поглаживала грудь в области сердца.

— У нас большая семья была. Четыре поколения в одном доме жили. Дружно жили, помогали друг другу. У брата весной, как раз перед самой войной, ребёнок родился. В первые дни войны отец с братом на фронт добровольцами ушли, а нас, советский немецкий народ, объявили врагами всего советского народа. Глубокой осенью всех немцев выселили в казахстанские степи. Что мы могли с собой взять? Тёплые вещи, инструмент кое-какой, пару мешков картошки да мешочек с семенами яблок. Всё наше богатство — сад, а его ж с собой не увезёшь. Дед мой плакал, он с каждой яблоней прощался, как с любимой женщиной. Знал, что уже не вернётся к ним. — Старик отпил глоток давно остывшего чая, немного помолчал и продолжил рассказ.

— Везли в теплушках, без нар, навалом, как скот. Долго везли, недели две. Бабушка первой не выдержала, отмучилась. На каком-то пустынном полустанке всех покойников сняли с эшелона — а похоронили или так бросили, не знаю. Спасибо за заботу: выделили армейские палатки нам — вот и всё жильё. Ни дров, ни воды поблизости, ни дорог. Только ветер промозглый да степь бескрайняя.

В первую зиму умер ребёнок, а Эльза, жена брата, умом тронулась и в степь ушла. Искали мы её долго, да так и не нашли. Тогда дед мой простудился и слёг, больше уже не встал. Летом, в самое пекло, мать померла. С фронта мы никаких вестей не получали: нас, как врагов народа, лишили права переписки.

Мы оглушённо молчали. И вроде знали всё про Немецкую Поволжскую республику и про депортацию этого народа, но как-то отвлечённо, нас же это не касалось напрямую, мы-то «врагами народа» не были. Напротив сидел дедушка, совершенно ничем не отличающийся от множества других пожилых людей: в растянутых на коленках трениках, видавшей виды футболке, китайских резиновых шлёпанцах, с натруженными руками и непроходящей, сквозняком пронизывающей печалью в глазах... Какой же он враг? Сердце моё охватила боль; одновременно хотелось и плакать, и выйти из купе, чтоб не выказать жалости, которой он не просил, и обнять его, и прощения просить. За всю нашу историю, за всё то корявое и несправедливое, что выпало на долю каждого человека в нашей многострадальной стране.

— Умные люди подсказали, вот тогда я и написал объявление в газете. Зашёл в райисполком Отто Генрихович Шварцберг, а оттуда уже вышел Анатолий Геннадьевич Черногорцев. И справка об этом выдана мне была. — Он глубоко вздохнул, словно выгнал вместе с воздухом комок душевной боли. — Собрал в сидор нехитрые пожитки, иконку Девы Марии да мешочек с яблочными семенами и пошёл на фронт новую биографию себе писать.

— Ваши сослуживцы знали, кто вы на самом деле? — поинтересовалась я. — И если знали, как относились?

— Особо не афишировал. А если узнавали, по-разному относились. Кто-то спокойно, а были такие, кто и в спину мог выстрелить. Да я их не осуждаю. Всем лиха хватило, всех горе слепыми и глухими к рассудку могло сделать. Войну в Будапеште закончил, и потом ещё два года срочную службу оттарабанил. Демобилизовался в сорок седьмом и поехал не в Казахстан, а на родину, домой.

Старик снова замолчал. Алексей, воспользовавшись паузой, метнулся по коридору вагона к титану с кипятком и принёс четыре стакана чая.

— Может, вам валидола? — засуетилась Нина, заметив беспокойное движение руки ветерана. — Я сейчас быстро к проводнику сбегаю.

— Не надо, дочка, всё хорошо. Ерунда. Это не сердце, это душа облегчение получила. Столько лет молчал, а вот поди ж ты — совсем незнакомым людям вот так открылся, выговорился.

— А как дальше жили, расскажете? — Алёша подсел ближе к старику.

— Расскажу, коль тебе так интересно. Приехал домой, а там поле выжженное. Стою и понять не могу, где и что, и куда я попал. От дома одни головёшки, иван-чаем заросшие, а от сада одни пеньки. И стоит посреди этого одна-единственная яблоня, каким чудом уцелевшая, одному Господу Богу известно. Покромсанная, обломанная, обгоревшая, ствол с одного боку подпилен наполовину почти, а живая... Живая, Господи! И яблочки на ней висят — разноцветные, всех размеров. Выжила, сердешная, чудо наше селекционное. Видать, оттуда, сверху, все мои покойники её берегли. А под ней воронка от взрыва, да пила, осколками продырявленная, валяется. Не успели яблоню на дрова спилить. Обнял я её, матушку, да и расплакался. На фронте не плакал, хоть не раз бывало и страшно, и больно, особенно когда оперировали после ранения в медсанбате. Вот как вернулся я на своё селище, так с тех пор там и живу.

— А как же сложилась судьба отца и брата? Они вернулись с войны?

— В прошлом году вернулись. Поисковики обнаружили их останки в Демянском котле, недалеко от деревни Кулотино. Там бои тяжёлые шли в мае сорок второго. Там они и погибли. Их тела рядом были, в одной воронке. Ездил я на захоронение, привёз на могилку родной земли да яблок из нашего сада.

— Царствие небесное павшим воинам, — не сговариваясь, в голос произнесли мы с Ниной и перекрестились.

— Обалдеть... — Алёша не скрывал своих эмоций, — обалдеть...

— Так получается, вы и сад восстановили? — полюбопытствовала Нина.

— Восстановил. Мешочек с семенами со мной всю войну прошёл, я его пуще зеницы берёг. Год раскорчёвывал

участок от пней, деляночку подготовил под сеянцы. Думал, что уже и всхожесть потеряна у семян, а десяток росточков проклюнулось. Бывают чудеса, видно, высокой была тяга к жизни в то время. Так что шелестит листочками наш сад и пчёлы в нём гудят, как и раньше.

— И всё как раньше?

— И имя своё восстановил. Не мог я жить под чужим. Неправильно это.

— А семья у вас есть?

— Есть... Вернее, была. Мартушка моя три года назад оставила меня, а детей нам Господь не дал. Война здоровье у жены отняла, она санинструктором на фронте была. И меня, между прочим, с поля боя на своих девчачьих плечиках вынесла. Нашёл я её да и привёз под нашу мать-яблоню. Первый год мы с Мартой в землянке жили, потом домик поставили. И сад вырастили. А яблоки, как и при дедах заведено было, бесплатно раздаю. Мне пенсии хватает, много ли старику нужно?

Чай снова остыл, покрывшись тонкой железистой плёночкой, разошедшейся трещинками, как молодой ледок на озере. Проводница уже давно пригасила верхний свет, усталый вагон затих, угомонился хныкавший за стенкой ребёнок. Лишь мерное постукивание колёс да мелькание неярких фонарей нечастых полустанков оживляли пространство маленького купе, вместившего сегодня всю многогранность нашей трагической истории, прокатившейся молохом по судьбе одного человека.

— Ох и заговорили мы вас, утомили. Простите, что душу разбередили. Для нас эта правда — как глоток чистой воды в засуху. Спасибо вам за откровенность. — Я погладила старику руку, кожа на которой была прозрачной, как древнеегипетский пергамент.

— Несколько лет назад историю одну мне рассказали, — продолжил ветеран, — во время войны и некоторое время после колесила по стране седая как лунь, худенькая женщина. У всех она спрашивала про мужа своего и ребёнка. И звали её полоумная Эльза. Уж не знаю, наша ли то была Эльза, или ещё какая бедолага... — тяжело вздохнул он. — Давайте спать, что ли. Я с утра на ногах. Притомился что-то.

До моей станции оставалось чуть больше пары часов пути, эмоции сегодняшнего дня не давали мне уснуть. Нина и Алексей, устроившиеся на верхних полках, быстро заснули, их спокойное дыхание навевало ощущение уюта и покоя. Слышно было, что отвернувшийся к стенке старик не спит, а тихо лежит, время от времени подавляя глубокие вздохи.

За полчаса до своей станции я положила на краешек стола две визитки и, стараясь никого не потревожить, выскользнула за двери купе. Минут через десять в коридор спящего вагона вышел и старик.

— Не спится. Провожу тебя, дочка, помогу чемодан вынести. Да воздуха глотнуть хочется. Ты не серчай, ладно? Вывалил на вашу голову всё исподнее, что жизнью накопилось. Но ведь разве ж они мне «свои»? Нет, дочка, не свои они. Зверь человеку никогда своим не был. И не будет...

Уже не скрывая слёз, я обняла деда, спустилась на перрон своей окутанной морозным мартовским влажным туманом станции и проводила взглядом уплывающий в ночь поезд. Старик, стоя в проёме двери за спиной полусонной проводницы, на прощание махнул мне рукой.

«Увидимся ли ещё?» — грустно подумалось мне.

* * *

Вечером девятого мая о дно моего электронного почтового ящика тихонько звякнуло новое письмо. Было оно с незнакомого адреса, в его теме стояло «Дед».

С волнением я щёлкнула курсором, письмо медленно загрузилось. В тексте было всего два слова: «Мой дед», — и прикреплённая фотография. На ней под старой кривобокой яблоней, взметнувшей к небу чёрные руки-ветви и усыпанной зефирно-бело-розовыми цветами, обнявшись стояли высокий улыбающийся Отто Генрихович Шварцберг в парадном костюме с боевыми наградами и счастливый, с ямочками на румяных щеках, Алёша.

— Не спите, басурмане? — в трубке звучал его насмешливый голос. — Ну тогда скоро буду...

Через полчаса он ввалился в квартиру — огромный, шумный, небритый, протянул Татьяне два тяжёлых пакета и тут же, в прихожей, медведем обхватил и сжал крепкими мужскими руками её хрупкую фигуру.

— Чем так соблазнительно благоухаешь? «Диор»?

— Господи, Борь, раздавишь меня! Холодный, колючий, отпусти... Точно, угадал — «Диор». Новогодний подарок, между прочим. Ты снова столько всего привёз. Зачем? У нас всё есть.

— Это мелочь всякая, к празднику. Кинь на стол что-нибудь, я с утра не жрамши.

— Тише, разбудишь детей. Только угомонились. Николаю утром на дежурство, пусть спит. Тебе на диване постелила. Душ примешь?

— Да, и футболку дай какую-нибудь. Я два дня дома не был.

— Что так? Снова раздрай?

— Потом. Всё потом.

Пока в ванной Борис смывал усталость прошедшего дня, Татьяна, прикрыв на кухню дверь, сервировала стол к позднему ужину. Из принесённых ночным гостем пакетов она достала и аккуратно нарезала тонкими ломтиками остропахнущий свежайший швейцарский сыр с пепельными прожилками плесени, на блюдце изысканной, почти вологодско-кружевной салфеткой выложила прозрачными язычками колбасу и балык. На зелёных листьях салата в окружении сочных ломтиков лимона уже раскрыли коралловые лепестки розочки из нежной и сочной сёмги. Хрустящие тарталетки она в два счёта превратила в аппетитные пирожные из нежного крем-сыра, украшенного, будто драгоценными самоцветами, чёрной и красной икоркой. Из глубин холодильника на стол перекочевали хрустящие пальчики маринованных огурчиков и прозрачно-янтарные бусины помидорчиков черри, тонко порезанное домашней засолки сало с нежно-розовыми прожилками и с оказией присланная домашняя колбаса.

В стеклянной креманке светился опалом прозрачный студень, украшенный задорными морковными ромашками и зелёными листочками петрушки. На карусели микроволновки уже кружилась тарелка душистого рассыпчатого плова. В воздухе кухни витали тонкие ароматы свежего укропа, лимона, имбиря.

Татьяна включила торшер, погасила верхний свет. Она любила вот такие вечера на своей уютной кухне, когда семья мирно спит за стеной: вся суета отходит вдаль и можно спокойно почитать или порукодельничать. Но сегодня случился неожиданный гость. И ему она была бесконечно рада.

— Ох и наваяла ты тут! А чем это пахнет? Неужто борщ? Налей — тарелочку уговорю. Да, и сметаны с чесночком — ложечку, как я люблю. Ты ж знаешь, я за кастрюлю борща все тайны продам, как тот Плохиш за банку варенья. Особенно те, которые никогда не знал! — Он расхохотался раскатисто, открыто, так смеётся человек с распахнутой настежь душой. — О, непорядок! А где главное блюдо? Что это наш мистер Хеннесси сиротливо на полочке скучает? Приглашай и его сюда.

— Так ты же только ужинать собирался?

— А допинг? Давай по капельке. Как говорит мой незабвенный друг Валерка, изыди нечистая сила — останься чистый спирт и приими, Боженька, не за пьянство, а за лекарствие!

— Борька, не богохульничай!

Татьяна открыла дверку кухонного шкафчика. Нежный микс ароматов обжаренного кофе и карамельной ванили внёс дополнительный аккорд к очарованию романтического настроя предстоящего ужина. Она на секунду задумалась и затем поставила на стол коньячные бокалы изысканного богемского стекла.

— Ты вот эти чуда заморские передвинь на тот край, а мне вот эту живую вкусноту поставь поближе. У, колбаска... Матушка готовила? Ох и аромат... Как она говорит — с «коляндрой»*? Чудо, а не колбаска. Вкусней не ел нигде. Ты

* Коляндра – кориандр, пряность (белорусский язык, разговорное).

хоть чему-нибудь научилась у неё? Да разве это переймёшь, она же с молитвой ко всему подходит, душу вкладывает. Жалею, что в молодости вашу мамку не знал — она ведь провидица у вас. Я это в прошлом году осознал, одна-единственная фраза мне глаза раскрыла. Помнишь, она у вас гостила прошлой зимой?

— Ну да, помню.

— Это когда я в госпиталь загремел, после ранения.

— После истории в Кизляре?

— Вот-вот. Я ж тогда Томиле своей не говорил, что в госпитале лежу. Мол, командировка ещё не закончилась, дела остались всякие. Не хотел её волновать. Фраза жены последняя мне тогда покоя не давала. Уже в дверях Томила говорит вдруг: «Тебя убьют». Я у неё спрашиваю: «Ты что городишь?» А она, как помешанная: «Тебя убьют. Что я с двумя детьми делать буду?» — и дверь закрыла. Ты знаешь, нас ведь там и вправду убивали просто. Иваныча нашего комиссовали осенью после ранения и командиром назначили этого генеральского сыночка. Шаркун паркетный. Он в своей жизни ничего страшнее петард не видел. Там, когда началась эта катавасия, нас в камуфляже посреди поля в снег сунули. Ни боеприпасов, ни маскхалатов. «Я, — говорит, — думал, что здесь «зелёнка». В штаб координаты неверные сообщил, сука! И нас перекрёстным накрыли — и радуевцы, и наши — утюжили... Там огороды какие-то были, взрывами перепахало всё, и, представляешь, в воздухе стоял резкий запах хрена. Я тогда твой холодец вспомнил. Потом рвануло совсем рядом. Олег у меня на руках умирал. «Мы с Олькой четвёртого ждём... Вы не бросайте Олю, сын у меня будет, я знаю... Со своим вместе вырасти его... Позаботься о них...» И больше ничего не помню. Очнулся в госпитале, мне уже и дырки заштопали, и Олега похоронили. Я никому это не говорил раньше. Не могу молчать. Выговориться хочется.

— Я слушаю тебя, Борь. Господи, как же вы это всё пережили тогда?

Борис замолчал, налил в бокал ещё коньяка, отрешённо покрутил его, согревая в ладонях. Золотистой волной слегка маслянистый напиток перекатывался по тонкому стеклу,

раскрывая изысканные оттенки вкуса. Медленно, будто воду, выпил. Некоторое время он опустошённо смотрел в тёмное окно, куда-то в ночь, словно силясь рассмотреть что-то за пеленой снежной круговерти, только побелевшие костяшки сжатых в кулак пальцев выдавали ту бурю чувств, что бушевала в его в душе.

— А не пережили... До сих пор там. Это же не первая моя командировка. Много чего хлебнуть пришлось. Но такого разъе... прости, — разгильдяйства — ещё не встречал нигде. Знаешь, я никогда так не боялся, как сейчас. Объяснить не могу. Гадкое чувство... Вот сосёт под ложечкой... Когда черту нужно подвести, решить что-то важное. А что важное — я не знаю. Не знаю, понимаешь? Хотя нет, вру — знаю... Ты понимаешь, запутался совсем. Всё поменять хочу. Всё по-другому. До недавнего времени всё было понятно. День — ночь; тут — я, а тут — враг; вот здесь моя семья — жена и дочка, а я за них в ответе. Сейчас всё перемешалось, медкомиссия назначена. Не пройду я её, чует моё сердце. Спишут, и всё.

— Борька, да не паникуй ты так! Ты же боевой офицер, наград — как у Леонида Ильича, хоть грудь расширяй. Тебя любое военное училище с руками оторвёт. Учить молодёжь будешь. Ну, хорошо ведь?! Ты у нас вон какой красавец брутальный, и сединки в кудрях тебе прямо к лицу очень. Это теперь «перец с солью» называется. Знаешь, если Антонио Бандерас усы отпустит — то он на тебя будет похож.

— Хороший ты мужик, Таня! Но училкой ты была, училкой и останешься. И чему я буду молодёжь учить? Как Родину защищать? Или как задницу прикрывать зажравшимся генералам, которые по мозгам и на ефрейторов не тянут? Нет, не могу врать. Пойду к Иванычу, он на Солянке салон красоты открыл. Мужской. Курсы закончу, буду маникюр-педикюр делать — мастер «перец с солью сэр Антонио Бандерас», — передразнил он Татьяну. — Во народ попрёт к нам, озолотимся!

— Ты что, вправду? Иваныч — и салон красоты?

— Да это прикрытие. На самом деле частный сыск. Пока клиент стрижётся-бреется, он знаешь какой разговорчивый? Тут главное вопросы правильные невзначай задавать,

а мужик болтливее любой бабы. Иваныч за это время десяток висяков раскрыл. Так что за работу я не парюсь.

Борис пристально посмотрел на Татьяну, будто оценивая, продолжать ли разговор дальше.

— Ушатал тебя болтовнёй?

— Нет-нет, всё нормально! Я рада пообщаться с тобой. Ты что-то совсем забыл нас. Дети скучают. Останешься хоть на денёк? Коля отдежурит, даст Бог — без аварий обойдётся, вечером стол накроем, попраздничаем.

— Что это он в такой день взял дежурство?

— А что делать? Всё у него под контролем должно быть. Вот если артист на сцену не выйдет — огорчится одна-две тысячи зрителей. Представь, бригада энергетиков на аварийный участок не явится, тогда недовольных с полмиллиона будет. Дети маленькие, старики больные, операционные всякие. А элементарно в лифте, как в ловушке, оказаться? Опять же — плиты электрические в домах теперь, мы настолько к этому привязаны стали. Да и праздник сегодня такой, так что не может Николай спокойно дома сидеть. Ты ведь тоже редкие праздники дома за семейным столом проводил?

— Работа у нас такая — Родину защищать. Томилка моя иначе считает. Она ревностью своей достала уже, домой как на Страшный суд едешь. Теперь мне всё равно, нет семьи. Кончилась.

— Да что ты, Борь? Всё наладится! Ты работу поменяешь, Томила подлечится. Давай я со своим доктором её познакомлю. Мы уже семнадцать лет дружим, я у неё мальчишек своих рожала ещё. Она врач от Бога. У неё знаешь какая интуиция! Не всё потеряно, будут у вас ещё дети. Не переживай ты так!

— Дети? С ней? Нет! Не будет у нас с ней больше детей. Закончились счастливые супружеские отношения. Убила она их.

— Господи, Борь, как ты такое городишь? Что случилось у вас?

— Пока я в госпитале валялся месяц, она решила, что я бабу другую завёл. Я ж в полубессознанке был первую неделю, что-то в моём бреду ей такое почудилось. Думала — пьянствую. Из госпиталя вернулся — узнал, что нашего ребёнка нет боль-

ше. Выкидыш у Томилки случился из-за меня — на нервной почве. Переживал очень. А тут у вас, случайно совсем, с Колькиной матушкой про Олю с детьми разговор зашёл, и Томила выдала, что Олька — дура набитая и нужно было прервать беременность, когда Олег погиб. «Кому, — говорит, — рожать? У неё три девчонки уже, а еще и четвёртый будет». Матушка тогда так внимательно посмотрела на Томилу. «Знаешь, — говорит, — о каждом случайно потерянном ребёнке горевать и молиться нужно, а уж на убийство осознанно идти? Это самый страшный грех. Ребёнок — великий дар Божий, его заслужить нужно. Господь милостив, Он на каждого ребёнка благодати пошлёт». А Томилка только хмыкнула: «Я ещё сама не жила, чтоб по рукам себя связывать. Мне Леры хватает, и больше не надо». И вот тогда я понял всё. Всё! Избавилась она от ребёнка. Понимаешь, мне в отместку сына моего, ещё не рождённого, убила...

По осунувшемуся, измученному и заросшему щетиной лицу Бориса катились слёзы и капали на крупные мужские руки. Он сидел, обречённо опустив голову, плечи его судорожно вздрагивали.

— Борь, родненький, что ж ты молчал раньше?

— А стыдно было. Будто я сам это сделал, это же я своим детям выбрал такую мать. Куда смотрел? Чем? Сколько девчонок было вокруг, а главный мой критерий — чтоб в постели богиней была. Нашёл! Я ж над вами откровенно смеялся всю жизнь — в студентах детей нарожали, ни кола ни двора. Одна экономия на всём, вы сами ничего не видели тогда, а что детям могли дать? Когда вы их на море первый раз повезли? А мне нужно было всё по высшему разряду: если отпуск — то в Сочи, если ужин — то в ресторане, если машина — то джип подавай. Сейчас вот на вас смотрю: пацаны уже какие взрослые, старшая дочка скоро заневестится и эта маленькая пигалица сколько счастья дарит. И дом полная чаша, и у вас с Колюхой глаза живых людей.

— Да, мальчишки уже школу заканчивают. Поступать собираются. Мы хотим, чтоб в энергетический институт шли, — там и связи есть, и потом работа будет. Нет же, упёрлись,

хотят в военное училище, «как дядя Боря». Ты б поговорил с ними, а? Они тебя услышат.

— Ох, льстят, засранцы, старому вояке. Поговорю утром. По-мужски поговорю.

— А как Оля сейчас? Видитесь с ней?

— Да, конечно. Стараемся каждый день заезжать. Как на дежурство. Олежке уже пять месяцев, растёт малец. Весь в отца — и ямочки на щеках. Глаза синие-синие. Оле помогаем коляску выносить на прогулку, хлопочем, чтоб скорее им квартиру дали: всё-таки семья Героя. Артур молодец. Он девчонок к себе в деревню на выходные и каникулы забирает — летом речка, зимой лыжи-санки. Мамка его в них души не чает, наряды им всякие вяжет, возится с ними. Ох, чую, скоро Артур их удочерит всех. Вместе с Олей. На работу Ольгу устроили — к Анвару в ресторан. Хорошую зарплату он ей назначил. Она теперь сомелье у нас. О как!

— Как же она справляется? Там же до ночи дела?

— Нормально справляется. Два раза в месяц ходит в ведомости расписаться. — И Борис довольно расхохотался. — Угощение, кстати, тоже от Анвара. Классный мужик. Ему из своей страны бежать пришлось: он курд по национальности, а наши православные обычаи чтит. У него в кабинете на столе икона Николая Угодника стоит. Говорит, что, когда тяжело бывает, просит у него помощи — и, знаешь ли, тот помогает.

Борис немного успокоился, отвлёкшись на другие темы.

— Вот и я тоже к вам с Николаем за советом приехал. Вы мудрее меня. Хочу всё с нуля начать. Однозначно. Сейчас комиссию пройду, на развод подам. Квартиру Томиле оставлю. Мне ничего не надо. Там книги кое-какие, фотографии, если она ещё не выбросила их. И Леру хочу забрать. Сам буду её воспитывать. Как ты думаешь, мне отдадут?

— Как ты себе это представляешь? А жить куда пойдёшь?

— Я с Иванычем перетёр. У него квартира в Кузьминках от родителей осталась. Там поживу. Потом видно будет. Женюсь по-человечески. На родной душе. С телом пожил, хватит.

— О как?! И такая уже есть — родная душа?

— Две недели назад встретил.

— Ох и шустрый ты у нас парень, как я погляжу. Неделя знакомству — а он жениться собрался.

— Я старый солдат и не знаю слов любви! Шучу. Не так сразу, конечно, но тут вот перевернулось всё, когда я её первый раз увидел.

— Где ж это такие феи водятся, чтоб с первого взгляда так втюриться? Ты вроде никогда не был влюбчивым.

Устало усмехнувшись, Борис иронично посмотрел на Татьяну.

— Ох, Танька, мы с тобой двести лет знакомы. Ничего от тебя не скроешь. Зря в педагоги подалась после школы, из тебя хороший криминалист получился бы. Ты ж всегда была у нас Мистер Шерлок Холмс? А сейчас как твои ученики тебя за глаза называют?

— Миссис Марпл, наверное. Только не за интеллект, скорее за внешность.

— Да, старушка Марпл, вывела ты меня на разговор сегодня. Как Иваныч клиента в своей брадобрейне. Я на исповеди отцу Василию меньше рассказываю.

— Ну, может, хоть легче стало немного? Тогда уж договаривай до конца. Кто сия девица, каким бизнесом владеет? Тебе ж орлицу высокого полёта надобно? Да?

— На сей раз ошибаешься. Катя в детском саду работает, нянечкой. В прошлом химик-технолог. Растит одна дочку. Вот и пошла в детсад, чтоб ребёнка устроить. Дочка, кстати, ровесница моей Леры. Муж Катин палатку держал на рынке, шмотьё из Турции возил, потому погиб — рэкетиры должок выколачивали, перестарались. Дочке два месяца тогда было.

— А познакомились где?

— Мы подарки к Новому году привезли в наш подшефный детсад. Я её увидел и пропал — глаза на пол-лица, кожа прозрачная, ручки тоненькие, словно у ребёнка. Хотел спросить имя, а сам знаешь что ляпнул? «Ты будешь матерью моих детей?» И она пронзительно так посмотрела на меня, будто рентгеном прожгла, насквозь. «Да, — отвечает — у нас красивые и умные дети будут». Потом я ещё раз к ней заехал, после работы. С цветами, по-человечески. Поговорили, всё у неё расспросил. Живёт с мамой, перебиваются как могут.

— А не торопишься? Вон с Томилой то же самое было — «ах, какие волосы, ах, какая фигура!» Слышать ничего не хотел. Я не отговариваю, конечно, но грабли никто не отменял.

— Я не спешу. У меня всё в тумане пока, во мгле сплошной. Мне ещё со старой жизнью разобраться нужно. Без боя Томила не сдастся. Она привыкла жить на широкую ногу, я для неё неиссякаемый источник благосостояния. Сейчас начнутся угрозы, шантаж, уговоры. Мы с марта не общаемся совсем. Я домой только ночевать езжу, по Лере скучаю очень. И она не засыпает без меня, ночью плачет. А Катя... у нас с ней ничего не было, да и неважно это на самом деле. Пока только разговоры. Один раз за руку взял — чтоб не поскользнулась на тропинке. Знаешь, Катя тоненькая вся, маленькая, как воробушек. Её за пазуху спрятать хочется и греть своим дыханием. Я подумаю о чём-то — а она это вслух продолжает. Что это, скажи? Потерять её боюсь. Обидеть боюсь, разочаровать боюсь. Я ж никогда ничего не боялся, даже там, в снегу под Кизляром, страха не было. Злость была, выжить хотелось, а страха — нет.

Борис вертел в руках пустой бокал, смеялся, а в глазах, наполненных слезами, одновременно жили и горе, и радость, и смущение от нахлынувших и наконец-то прорвавшихся наружу эмоций.

За окном крупными хлопьями тихо падал снег, фонарь из темноты равнодушно выхватывал свежевыросшие сугробы сверкающих нежных пушинок на припаркованных у подъезда автомобилях. Приглушённо светил торшер, очерчивая на потолке неоновое солнце. Щёлкала секундная стрелка в пластмассовом домике кухонных часов. Было четыре часа ночи или уже утра — светлого дня Рождества Христова. Где-то по деревням и посёлкам шли с фонарями колядующие христославы, призывно светились окна домов и хозяйки готовили радушную встречу первым гостям, несущим весть о рождении Спасителя.

Надежда Казакова

г. Химки, Московская область

БЕЛОКРЫЛАЯ ЛЕБЕДЬ

На улице жарко, пыльно, безветренно. Хочется поскорее добраться домой, лечь на диван под кондиционером и, раскинув руки, ни о чём не думать. Превратиться в сосульку, замёрзнуть, а потом снова медленно наполняться теплом. Нет, не сегодня: нужно идти, ползти, карабкаться на пятый этаж без лифта. К Маше. Потому что стрептокарпусы. Требуют. Полива. Они не перенесут плюс сорок по Цельсию. И погибнут.

А у Маши неожиданно (что называется, надо было ещё вчера) образовалась командировка в Светлогорск. Шеф считает первоочередной задачей снять сюжет о размытом ещё при зимнем шторме променаде.

...Ну вот и дошла. Вечно этот замок заедает, не сломался бы! Открыла! Духота, аж в глазах темнеет.

Где же вода? Воду же надо отстоять хотя бы сутки, а уж потом поливать. Вот сколько можно говорить одно и то же? Нет, никак хорошее не прививается, а уж пора бы, скоро тридцать.

Придётся сегодня стрептокарпусам попить водички из-под крана. Лейка-то куда запропастилась? В ванной, что ли, посмотреть? И где она там может быть? Не ванная, а каморка какая-то. Ну плитка испанская на полу и стенах, ну сантехника и зеркало незапотевающее от Jacob Delafon, а эти дурацкие полочки-полочки-полочки от пола до потолка зачем? Вот какая от них польза? Только пыль собирать на пузырёчках-скляночках-флакончиках полупустых.

Эх, уж раз ей так нравится, пусть так и живёт. В пыли и в окружении разных пузырьков. Моё дело цветы полить.

Ручка на двери ванной плохо поддаётся, ну ничего, поднажму — и откроется. Темно почему-то. Лампочка, наверное, перегорела. Всё на потом оставляет. Сразу поменять лень.

Не упасть бы.

...Шипит кто-то! Вот опять, всё ближе, ближе... Лю-ю-ю-дии-и! На по-о-о-мощь!

Что кричу? Нет никого, в квартире ни души. Вот приглядусь и сама справлюсь...

И что я вижу? При помощи фонарика телефонного что можно разглядеть, когда у тебя зрение плюс пять? Никого вроде бы... Мокро только. На кафеле лужи... В ванне полно воды... И шипит постоянно. Трубу, видно, прорвало.

Под раковиной надо проверить и под ванной. Ща-ас, на корточки сперва присяду, а уж потом на коленки.

Ой-ё-ёй, так я и знала, что эти банки проклятущие свалятся когда-нибудь! Больно как бьют! По спине, по плечам, по голове... Что им там не стоится? Или опять в Москве землетрясение? Вроде бы МЧС не предупреждало...

* * *

Я не успеваю додумать мысль про землетрясение, как замечаю: с самой верхней полки что-то белое и большое устремилось ко мне, потом виртуозно припарковалось на моей спине, забило крыльями, загоготало, вытянуло шею и стало меня щипать.

Распластавшись на полу, я пытаюсь собрать волю в кулак и как-то защитить себя от свалившейся практически с неба птицы. Удаётся мне это плохо. Животина меня боится, и я ей поэтому не нравлюсь, она предпринимает всё новые и новые атаки с целью обездвижить врага.

Топчется долго на моей спине, потом передвигается туда, где помягче, и затихает. Однако стоит мне хоть чуть-чуть пошевельнуться, как гусыня начинает шипеть, ударять с силой крыльями по плечам и стучать клювом по моей голове.

Спасти меня может только чудо, но в чудеса я не верю с детства.

И, видимо, зря!

Слышится поворот ключа в замочной скважине, гусыня покидает насиженное место на моих ягодицах и летит к входной двери. Свобода!

Через дверной проём ванны я вижу на пороге Машу. Она беззвучно смеётся, по лицу у неё катятся градины то ли пота, то ли слёз.

Маша помогает мне подняться, усаживает на диван, обнимает за плечи и прижимается ко мне, как в детстве. Гусыня, подняв сначала левую лапу, встаёт в кресло напротив, потом подтягивает правую лапу, складывает крылья, устраивается поудобнее и не отрываясь смотрит мне в глаза.

Ничего не спрашиваю. Прихожу в себя.

— Мам, — нарушает молчание дочь, — эту гусыню я купила к твоему шестидесятилетию. Думала, запечём в духовке с яблоками. Тётка на рынке уж больно расхваливала: мясо нежное, сочное! Может, так оно и есть, но у папы рука не поднялась лишить жизни эту белокрылую лебедь. Вот. Неделю в ванне живёт.

Командировку я отменила по семейным обстоятельствам, когда папа позвонил и сказал, что ты собираешься поливать цветы. В городе пробки, я не успела раньше тебя приехать, а дозвониться не могла: телефон у тебя полностью разрядился.

Прости, мам.

Гусыня громко загоготала, вылетела «из гнезда» и стала ласться ко мне, как вполне мирный домашний кот. Мне показалось, что так она просит прощения за «причинённые неудобства»...

ВАТРУШКА

1.

Его кровать стояла у самого окна. Он это скорее чувствовал, чем видел: время от времени сверху врывался поток морозного воздуха и замещал собой весенние ароматы «Pani Walewska». Лёгкое облачко духов застывало от холода. Потом оно осторожно подбиралось к старику снова, согревало

его, и сердце томилось, и рвалось из груди, и хотело что-то прошептать, но быстро уставало и затихало.

Он всегда знал: если рядом слышится перезвон изящных колокольчиков лесного ландыша, которому аккомпанируют утренняя роза и непорочный жасмин, значит, рядом Полина. Мягкими воздушными движениями она поправляла подушку, накрывала его одеялом, ставила капельницы. Вот скажите на милость, где она, молоденькая учительница математики, научилась ставить капельницы, и кто её сюда пустил?

На эти вопросы, адресованные в пустоту стерильности и метрономов жизни, ответа дать никто не мог, и он снова — от беспомощности и безысходности — проваливался в ватную толщу снов. Когда действие лекарства заканчивалось, тяжело просыпался, но видел уже не Полину, а Валерку. Капитан в голубом берете держал его за руку и настойчиво повторял: «Батя, повремени. А мы с мамкой тебя потом встретим. Потом, слышишь? Обязательно встретим. Слово офицера...»

Так они и дежурили у его постели по очереди: днём совсем юная трепетная Полина, ночью мужественный и уверенный Валерка в парадной форме ВДВ. А потом они исчезли, перестали приходить, и старик понял: с ним что-то нехорошее произошло, поэтому ангелами-хранителями спускались к нему с небес умершая в родах жена и погибший в Афганистане единственный сын. Чтобы спасти, чтобы дать ему шанс ещё пожить за себя и за них. И они смогли, они вытащили его из тягучей липкой темноты.

Однажды вернулась память. Это уже когда отменили капельницы. Он увидел всё случившееся как будто со стороны, как хроникёр, задача которого — просто фиксировать события.

2.

Сухопарый, невысокого роста старик, казалось, заблудился в торговом зале. Он был одет в двубортное чёрное полупальто с серым каракулевым воротником. Камуфляжные брюки-галифе были заправлены в бурки из белого войлока,

серый мохеровый шарф и кожаная шапка с каракулевым козырьком в тон воротника дополняли его гардероб.

То ли усталость, то ли болезнь прикоснулись к лицу посетителя гипермаркета: кожа была безжизненно-бледной. Две глубокие морщины пропахали лоб, ещё две спустились от крыльев носа ко рту, а затем упёрлись в подбородок. Ушанка, сдвинутая на затылок, обнажала густую волнистую шевелюру, в которой вряд ли бы нашёлся хотя бы один не тронутый сединой волос.

Расстегнув полупальто, дед распахнул его полы, затем достал карманные часы из маленького потайного кармашка у притачного пояса галифе. Нажал на боковую кнопку большим пальцем левой руки, открыл крышку лежавших в крупной ладони часов и, прищурившись, посмотрел на циферблат: четверть десятого. Убрав часы на прежнее место, их владелец забыл или не захотел по какой-то причине застегнуть пальто на пуговицы.

Он блуждал по магазину, рассматривая сковородки с антипригарным покрытием, одноразовые пелёнки для собак, офисные шредеры, пока не исчез в недрах торговой империи, чтобы появиться снова, но уже наглухо упакованным в свой чехол из добротной антрацитовой ткани.

В отдел, где на полках были выставлены алкогольные напитки, покупатели в такой ранний час почти не заходили. Старик сюда и направился. Осмотревшись по сторонам, он решил пристроиться между двумя паллетами с коробками Токайского асу. Постоял там несколько минут, слегка пригнувшись и переминаясь с ноги на ногу, словно чего-то боялся или не решался сделать.

Руки его то исчезали в карманах брюк (и правый карман оживал, могло показаться, что дед ловил там мышей), то проверяли, на месте ли шарф, то медленно поглаживали седые брови. Потом человек прекратил всякие движения, замер, будто приготовился к прыжку, достал из «живого» кармана обрывки полиэтиленовой плёнки, скомкал их и снова отправил в карман, но в тот, что слева. Маленькие глазки цвета сильно разбавленной синьки, утонувшие в пушистых седых ресницах, шустро шныряли окрест. Вдруг он прижал подбо-

родок к груди, резко открыл рот и начал что-то в него заталкивать. Дело не очень спорилось, но дед не прекращал усилий.

Через минуту-другую его руки возвратились в глубокие карманы галифе, а лицо приняло странное выражение: глаза сползли вниз, впалые щёки напряглись, заходили буграми, сомкнутые губы стали похожи на двухъярусные кулисы, за которыми происходили тайные действия.

Закончив их вскоре, он вернул глаза, щёки и губы в привычное положение и пошёл к выходу.

Уже у стеклянной двери охранник взял его за локоть:

— Пройдёмте.

Старик не задал ни одного вопроса. Он молча следовал за парнем крепкого телосложения вглубь торгового зала, потом направо, ещё раз направо, потом налево, пока охранник не открыл дверь с табличкой «Служебное помещение».

В небольшой комнате был стол, на нём — компьютер со множеством меняющихся картинок. Молодой человек щёлкнул по одной из них, на мониторе появился дед.

Он не спеша шёл вдоль корзин с хлебом, останавливался, доставал то батон, то буханку, шевеля вялыми губами, медленно читал вслух название на этикетке, подносил двумя руками к лицу, жадно втягивал воздух в себя, тщетно пытаясь уловить через упаковку хлебный дух. Потом, как на чашах весов, он будто взвешивал хлебушек поочерёдно в каждой из ладоней, бережно ощупывал его, измерял четвертями* длину, высоту, ширину и возвращал в корзины из металлических прутьев.

Со стороны это выглядело так, точно он что-то ищет и не может найти то, что должно было подойти ему идеально по всем параметрам. Наконец дед остановился у корзины с хлебной выпечкой. На дне лежала единственная ватрушка. Лицо старика прояснилось — он обрадовался. Затем была проведена процедура исследования «последышка», которой покупатель остался доволен. И... он выждал момент, когда рядом не было никого, положил в карман брюк ватрушку, запахнул полы

* Четверть – старорусская мера длины, основанная на расстоянии между раздвинутыми указательным и большим пальцами, равна 18–19 сантиметрам.

пальто и застегнул его, надёжно укрыв мягкую выпечку под одеждой, и зашагал в винно-водочный отдел, где вслепую, наощупь, снял плёнку с ватрушки, упрятанной в карман, и съел её. Тайком. Быстро. Без наслаждения. Лишь бы никто не застал его за этим занятием.

Ноги обмякли, ослабли, по лицу пошли красные пятна.

— Ну что, гражданин, протокол составлять будем, — это уже голос лейтенанта полиции. Охрана времени не теряла и вызвала наряд для оформления задержания, пока он «уничтожал» вещдок.

— А в чём дело, что-то я не пойму? — стараясь не выдать волнения, невинно спросил старик.

— Что ты не поймёшь? А кражу совершить в магазине — это ты сообразил? Документы давай.

— Тыкать не надо, не ровня мы. — Дед протянул красную книжечку, на тонкой гладкой коже которой сияло золотое тиснение «Орденская книжка».

— Не является удостоверением личности. Паспорт давай, — не раскрыв даже документа, сквозь зубы процедил лейтенант. Плевал он на то, что старик был его старше на полвека: вор — он и есть вор. А что до орденской книжки, так, может, он и её стащил у кого-то.

— Удостоверение ветерана труда есть, оно с фотографией, а фамилия везде одна.

— Паспорт давай, говорят тебе! — лейтенант злился.

— Нет паспорта, — старик сконфузился, уставился в пол полинявшими глазами. — Три недели назад получил пенсию, шёл домой из банка, пацаны налетели, повалили, отобрали сумку и — дёру. Ни денег, ни паспорта, ни банковской карточки. Справка есть, что в полицию обращался. Паспорт ещё не выправил, — нарушитель закона смущённо и виновато смотрел на блюстителя порядка.

— Так, задерживаешься до выяснения личности. Посидишь в обезьяннике. Потом дело о мелком хулиганстве оформим, передадим мировому судье. Пятнадцать суток административного ареста тебе обеспечено.

— Пятнадцать суток? За ватрушку? Мелочь. По указу семь-восемь бра́тке моему в тридцать третьем за горсть

пшеницы десять лет впаяли. Через полгода помер в лагере, до тринадцати лет не дотянул...

Дед побелел, на лбу выступил крупным бисером пот, зрачки расширились, губы дрожали. Трясущимися руками он спрятал орденскую книжку в нагрудный карман, застегнул его на молнию и — рухнул на пол.

3.

В истории болезни, оформленной в приёмном отделении больницы скорой помощи, записали: «П-ов Андрей Викторович, 1930 года рождения, диагноз: голодный обморок, острая сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, острый инфаркт миокарда. У доставленного имеются документы: орденская книжка о награждении орденами Ленина и «Знак почёта», удостоверение к медалям «За освоение целинных земель» и «Ветеран труда», удостоверение тракториста-машиниста 1-го класса. Ценных вещей при себе пациент П-ов не имеет».

...Серебряные карманные часы Rapport London, подарок сына, которым он дорожил больше жизни, одинокий старик уже никогда не увидел. Сгинули они. Растворились. Во времени и пространстве.

4.

Через месяц его выписали из больницы.

Спустя какое-то время пришла повестка в суд.

Решением мирового судьи обещанный лейтенантом административный арест был заменён на пятьдесят часов обязательных работ. П-ов Андрей Викторович целую неделю обкалывал лёд на тротуарах в том районе, где размещался городской отдел полиции, расчищал от снега дорожки, посыпал их песком, сильно уставал и был рад тому, что жив и приносит пользу людям.

Апрель 2019 года

Лариса Калюжная

г. Санкт-Петербург

Я ВСЁ ПОМНЮ, ПАПА...

Моё рождение пришлось на послевоенный 1947 год. В то время, о котором пойдёт рассказ, наша семья состояла из моего отца, Ковалёва Ильи Михайловича, моей мамы, Ковалёвой (Чичигиной) Ольги Васильевны, моего ныне здравствующего младшего брата Ковалёва Николая Ильича и меня, Ковалёвой Ларисы Ильиничны, по мужу — Калюжной.

Легко и светло вспоминаются мне годы детства и юности. Всё видится так, будто было вчера. Эти записки о прошлом — как прикосновение к Раю, где времени нет...

У меня было счастливое безоблачное детство. Конечно, я осознала это только спустя много лет. А тогда я и мой младший брат просто жили с папой и мамой в псковской деревне, раскинувшейся на берегу большого красивого озера Нища. Точнее сказать, это были две слившиеся деревни, Бояриново и Жеглово, которые получили единое название — Бояриново.

Самым внушительным строением в ней было огромное, в два этажа, деревянное здание средней школы, построенное по типовому проекту вскоре после войны, в 1951 году. У школы сохранилось первоначальное название: Жегловская. Папа преподавал в школе географию, а мама — русский язык и литературу. В той жизни всё текло размеренным чередом и было просто, понятно и надёжно. Осознаю я теперь и то, что наше с братом детство было счастливым и безоблачным потому, что у нас был такой отец.

Папа демобилизовался из армии в 1945 году. Он не застал в живых ни своего отца, ни матери. Родная деревня Федосы была сожжена немцами во время одной из карательных операций против партизан. И лишь несколько яблонь на пустыре да почерневшая печная труба молчаливо и печально свидетельствовали, что здесь когда-то стоял дом и жила большая

дружная семья. Из восьми братьев и сестёр, включая папу, в живых после войны осталось только пятеро...

Папа решил ехать в Ленинград, где ещё с довоенного времени обосновались старшие брат и сестра. Прожив в городе примерно год, уже имея ленинградскую прописку и предложение — как бывшему фронтовику — руководящей работы, отец бросил всё и поехал учительствовать в родные края, где и до войны преподавал в школе географию. Здесь он встретил мою маму, которую после окончания педучилища в 1944 году направили учить детей в этот только что освобождённый от фашистов район. После войны папа заочно окончил пединститут им. Герцена в Ленинграде. По его настоянию мама тоже получила высшее образование на заочном отделении Великолукского педагогического института.

Сначала мы жили на первом этаже школьного здания, в служебном помещении, состоявшем из двух комнат и кухни, а потом папа построил свой дом, и мы перебрались туда. Мне всегда казалось, что самое главное украшение нашего дома — это книги. Две стены в разных комнатах представляли собой сплошные ряды книг от пола до потолка. Помимо художественной литературы, толстых и не очень толстых подписных журналов, было много трудов по педагогике, справочников и методичек по географии, русскому языку и литературе. Самое почётное место занимали тома Большой Советской Энциклопедии, полные собрания сочинений Ленина и Сталина. Сталина позже пришлось спрятать за рядами книг...

Первым делом, которым папа занялся по приезде в деревню, была посадка большого яблоневого сада при школе. Второй сад, около двадцати яблонь, он разбил у нашего тогда ещё строящегося дома. Конечно, в послевоенной деревне нельзя было прожить без своего огорода, держали также кур и поросёнка. Коровы не было, зато папа завёл небольшую пасеку из четырёх-пяти ульев. В кладовке, где хранились дымарь, шляпа с сеткой от укусов пчёл, рамки с вощиной, витал сложный запах воска, мёда и дыма. Помню, что у нас на кухонном столе всегда стояло глубокое блюдо с громадой медовых сот, с которых стекали янтарные капли.

Моё детство пришлось на особенное время. Романтика войны, если можно так сказать о войне, витала в воздухе. Детей моего возраста тогда в деревне было ещё много. Мы взахлёб читали книжки про войну; бегали смотреть кино про войну; играли в войну, с упоением горлопаня на бегу: «хальт!» и «хенде хох!». На разбомблённом немцами железнодорожном полотне собирали металлолом: куски искорёженных рельсов, крепёжные плиты и костыли. Частенько в лесу и на насыпи железной дороги мальчишки находили порох в пластинках. Он ярко вспыхивал, когда мы бросали его в костёр.

И меня очень удивляло, что папа, прошедший всю войну с самого начала до конца, участник Сталинградской битвы, никогда не ходил смотреть фильмы о войне и как-то не очень охотно рассказывал об этом времени. Теперь-то я это понимаю...

Помню папину открытую доброжелательную улыбку, ровный характер, его немногословную неторопливую речь и абсолютную несуетливость в движениях и вообще в делах. Школьные технички уважительно говорили о нём между собой: степенный человек. И мне кажется, что это несколько архаичное выражение как нельзя более точно отражало папин характер и его манеру держаться. Я никогда не слышала, чтобы он кого-то ругал или даже повышал голос. Но если случались неприятности или папа был чем-то расстроен, он просто замолкал, а лицо его принимало такое суровое выражение, что мы с братом становились тише воды, ниже травы. И даже мама, которая имела над ним определённую власть, в такие минуты помалкивала и отступала.

Русское гостеприимство было присуще папе в высшей степени. Для гостя, даже случайного, на стол полагалось выставить всё, что было в доме съестного, без всякой заботы о завтрашнем дне. Дом был открыт для всех: к нам часто приезжали близкие и дальние родственники, заходили бывшие ученики, зачастую всем выпуском, а три папиных племянника иногда поочерёдно, иногда вместе приезжали к нам из Ленинграда и Риги на все летние каникулы.

А однажды папа привёл в дом незнакомую армянскую семью: мужа, жену и их сынишку лет семи, которые гостили у нас два дня. Вышло так, что по дороге в магазин он заметил незнакомых людей на автобусной остановке. Когда папа возвращался домой с покупками, они всё ещё потерянно стояли на прежнем месте, хотя было уже довольно поздно. Равнодушно пройти мимо, не узнав, что случилось, было не в папином характере. Оказалось, что семья Саркисян ехала почтить память отца жены, погибшего в 1944 году при освобождении нашего края от фашистов, но доехать до братской могилы, а это ещё двенадцать километров, не смогла: автобус дальше не шёл.

Наутро папа договорился, чтобы армян отвезли к месту захоронения на совхозной машине. На обратном пути они снова остановились у нас. Глава семьи темпераментно рассказывал за столом, в каком они были смятении, когда выяснилось, что автобус дальше не идёт; как жена предложила ехать назад тем же рейсом; как он ответил ей восточной пословицей: «Осла съели? Теперь надо и хвост доедать!» — и оказался прав! Потом мы долго получали от этих благодарных людей из далёкого армянского города Горис поздравления с праздниками и даже посылки с южными фруктами и вином.

Видимо, на фронте отцу приходилось голодать, потому что он любил всех угощать и кормить. Приедет, бывало, из поездки в районный городок на какое-нибудь совещание и сразу будит нас с братом в любое время ночи: «Есть хотите?» А мы, хоть и спросонья, всё равно, конечно: «Хотим!» И вот папа достаёт из сетки-авоськи, которую всегда возил с собой на случай возможных покупок, и раскладывает перед нами городскую еду: батон колбасы; копчёную треску в бечёвках-перевязочках; пряники в виде грибов, облитые сверху шоколадной глазурью; сероватые, резиновые на укус баранки, такой вкусноты сейчас днём с огнём не найдёшь! Мама ворчит на нас, на папу и сконфуженно оправдывается: ведь кормленые же дети... А мы уписываем за обе щеки всё подряд, заедая колбасу и рыбу пряниками!

Папа и мама жили школой: все разговоры дома были у нас о школе, бóльшую часть времени они пропадали в школе, где

помимо уроков проходили бесчисленные педсоветы, родительские собрания, подтягивание двоечников, подготовка викторин и художественной самодеятельности... У папы, как директора школы, прибавлялись к этому списку хозяйственные заботы, поездки на совещания в РОНО и летний ремонт, который «съедал» даже отпуск. Папа радовался, что ему хотя бы не нужно проверять тетради, над которыми «чахла» моя мама по вечерам. Помню, как уютно было засыпать при свете настольной лампы под шорох перелистываемых мамой тетрадок с упражнениями и сочинениями.

В школе я училась хорошо. Но как-то раз не выучила задание по географии, понадеявшись, что меня не спросят после полученной накануне пятёрки. Двойка, которую мне поставил папа, меня потрясла... Слёзы капали на парту, а в разгорячённой голове крутилась мысль: «Как же мой папа мог так жестоко поступить со мной, ведь я же его дочка? И как же после этого мы теперь будем дома жить вместе?» Но дома папа был как папа, а про двойку и разговора не было.

Ещё один случай произошёл, когда мы всем классом поехали убирать совхозную картошку. Каждому выделили по борозде, и все ринулись копать наперегонки, тогда эта соревновательность была в порядке вещей. Как раз в тот момент, когда мне удалось вырваться вперёд, к полю подъехал «газик», из него вышли директор совхоза и папа. Они направились в нашу сторону, чтобы проверить качество работы.

И тут я с ужасом увидела, что мой папа идёт не по чьей-нибудь борозде, а именно по моей, и молча выковыривает из земли пропущенные мной картофелины! Такого позора на весь мир, да ещё учинённого собственным папой, я никак не могла ожидать! Он так и не сказал мне ни единого слова, просто высыпал всю картошку в моё ведро, но этот урок я запомнила на всю жизнь...

Когда на нашу школу выделили путёвку в Артек, у меня не было сомнений, кто именно поедет в Крым: в учёбе я была одной из первых, и потом, мой папа — директор школы! В знаменитый пионерский лагерь уехал мой одноклассник, а мне досталась гораздо большая ценность: ещё один урок на всю жизнь...

У папы был хороший по тем временам фотоаппарат «Зоркий» и всё необходимое для фотодела: штатив, ванночки для проявления, глянцеватель, приспособление для фигурной обрезки фотокарточек. Как мы любили с братом это волшебное действо в папином кабинете при мягком таинственном свете красного фонаря, когда на наших глазах как бы из небытия проявлялись вдруг на белой бумаге знакомые лица! Эта увлечённость фотографией передалась через поколение папиной внучке и старшему правнуку.

Очень дорог для меня рассказ выпускника нашей школы, который я услышала через много лет после того, как папы не стало... Дело было так: мальчишки сговорились подставить учительнице химии ломаный стул, чтобы сорвать трудный урок. Все не на шутку испугались, когда в класс вместо удачно заболевшей, как позже выяснилось, «химички» вошёл директор школы! Кто-то кинулся было заменить стул, но... поздно. Директор уверенно сел на него, взмахнул руками и с грохотом исчез из поля зрения онемевших школьников...

Когда папа встал с пола, в руке у него была зажата спинка от стула. Он крикнул классу: «Ложись!» Все пригнулись. А папа метнул кусок стула над головами учеников, как гранату на фронте. Просвистев в воздухе, спинка ударилась о противоположную стену и с шумом сползла вниз, брякнувшись об пол. Папа обвёл глазами притихший класс и... спокойным ровным голосом начал урок географии. Бывший папин ученик закончил своё воспоминание восхищёнными словами: «Ох, как я зауважал нашего директора! Я и раньше его уважал, но после этого случая особенно зауважал! Ох, как зауважал!»

Из-за школьных забот у папы не хватало времени на благоустройство собственного дома. Он говорил маме: «Вот выйду на пенсию и наделаю тебе полочек в кладовке!» Но выйти на пенсию и сделать полочки в кладовке он так и не успел. Спустя 28 лет после окончания войны отец, не получивший на фронте даже пулевой царапины, погиб в автомобильной катастрофе, возвращаясь на совхозной машине из служеб-

ной поездки в соседнюю Латвию, где он закупал необходимые материалы для летнего ремонта школы...

По мирским меркам, следуя пословице о том, что каждый человек должен построить дом, посадить дерево, родить сына, — папа прожил свою жизнь не зря.

Но мне важно было понять его отношение к вере. В детстве ни папа, ни мама никогда не говорили с нами о Боге, о чём я позже много размышляла и в общих чертах поняла: время было такое...

Придя к православию спустя много лет после папиной смерти, я по крохам собирала хоть какие-то свидетельства, но... Папа был членом партии, можно сказать, идейным коммунистом, какая уж тут, казалось бы, вера. И всё же... всё же... Память подсказывает мне, как на Троицу мы всей семьёй на школьной лошадке, запряжённой в «линейку», обязательно ехали на кладбище, где были похоронены папины родители. Папиной двоюродной сестре врезались в память его слова: «Плох тот человек, у которого в душе нет Бога».

И ещё: перебирая как-то семейный архив, я наткнулась на открытку, подаренную папе в 1945 году, когда их часть стояла в Венгрии. Она была знакома мне с детства, но только теперь мне открылось то, чему я раньше не придавала значения. Фронтовой друг писал папе: «...Ты был единственным человеком, который по-настоящему понимал меня и скрашивал дни мучительной Голгофы моей...» На лицевой стороне открытки было изображение распятия Христа... Говорят, что на войне не бывает атеистов, и, мне кажется, папа не был исключением.

Как мне хочется думать, что папа не забыт у Бога. Господь подаёт мне на это надежду: вскоре после того, как я пришла к вере, выяснилось, что единственный в нашем микрорайоне храм освящён во имя святого Пророка Илии, папиного небесного покровителя. Уже много лет я являюсь прихожанкой этого храма, в котором молюсь всесильному Пророку о спасении души моего отца для Вечности.

В родную деревню мы часто приезжаем всей семьёй, а я с внуками провожу там три летних месяца. Ближайший от нас храм находится в посёлке, где живёт мой брат, учитель

географии, много лет работавший директором школы. Нижний придел этого храма освящён во имя святого Пророка Илии...

P. S. Отец не любил вспоминать о войне, а я не очень-то и расспрашивала... Теперь, когда спрашивать уже некого, Общедоступный электронный банк документов «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» выдал мне драгоценный листочек, описывающий боевые заслуги, за которые мой отец был награждён Орденом Красной Звезды. Несколько раз прочитываю названия местности: Дьич-Ваграм, река Морава... Приказ о награждении составлен кратко, простыми словами, но, несмотря на это, передо мной зримо встаёт образ отца, каким я его знала уже в мирное послевоенное время: неторопливый, сдержанный, немногословный.

Вот этот документ:

«На протяжении всей Отечественной войны, участвуя вместе с полком во всех боях с немецкими оккупантами, пройдя славный путь от бойца до офицера «начальника хим. службы полка» тов. Ковалёв является образцом дисциплинированности и исполнения воинского долга, испытанным патриотом-воином.

Будучи штабным офицером и повседневно исполняя поручения штаба, тов. Ковалёв несмотря ни на какие трудности, как правило, все поручения выполняет исключительно добросовестно, проявляя при этом необходимую инициативу и находчивость, смелость и мужество. В боевой обстановке в самых напряжённых условиях не теряет присутствия духа и действует всегда умело и решительно, невзирая на риск и опасность.

Так, например:

10.04.45 во время переправы дивизиона через реку Морава тов. Ковалёв контролировал переправу 2-го дивизиона, попал под бомбёжку с воздуха. Несмотря на явную опасность для жизни, оказал помощь командиру дивизиона в организации переправы и обеспечил своевременное выполнение приказа

о занятии боевого порядка без потерь мат. части и личного состава.

12.04.45 в районе Дьич-Ваграм во время рекогносцировки нового района ОП тов. Ковалёв, будучи больным, попал под артобстрел противника, стреляющего из самоходок термитными снарядами, рискуя жизнью, тов. Ковалёв, несмотря на приказание немедленно отправиться в санчасть, продолжал оставаться на боевом посту, пока не была полностью выполнена поставленная задача. После чего в тяжёлом состоянии был отправлен в санроту.

За образцовое выполнение заданий командования и проявленное при этом мужество и самоотверженность представляю тов. Ковалёва к Правительственной награде Орден Красной Звезды.

Командир 260 ГВ ПАП гвардии майор /Нос/.

10 мая 45 г.»

Этот орден и медали «За взятие Будапешта», «За победу над Германией», «За оборону Сталинграда» (ею отец особенно дорожил) бережно хранятся в нашей семье.

«ЧТО ТАКОЕ БЛОКАДА?»

Моя двоюродная сестра Галина Афанасьевна Осипова, в девичестве Ковалёва, вместе со своей мамой пережила первый, самый тяжёлый год блокады Ленинграда, когда по карточкам давали всего сто двадцать пять грамм хлеба в день. Вот что она рассказала о том времени.

«Когда началась война, мне было девять лет. Я только что окончила первый класс и должна была ехать на лето к дедушке в псковскую деревню Федосы с тётей Аней и двоюродными братьями Володей и Толиком. Уже были куплены билеты на 21 июня, но в последний момент папа с мамой решили, что я поеду туда позже, вместе с ними. Вот так ровно за день до войны близкие родственники разделились; одни вскоре оказались в оккупации, другие — в блокаде...

Летом город сильно бомбили. Мы, задрав головы вверх, смотрели на немецких пилотов в шлемах, у них даже ноги свешивались вниз. Это было хорошо видно, так как конструкция самолётов была открытой.

Школу, в которой я училась, эвакуировали по Ладоге на барже. Но мой старший брат Лёня сказал: «Она не поедет!» — и меня оставили. Наша соседка, когда видела меня, плакала, а я не могла понять почему. Оказалось, что баржа затонула, на ней была и её дочь.

Мы жили на проспекте Обуховской Обороны (село Смоленское) в двухэтажном деревянном доме на четыре семьи. У нас была однокомнатная квартира с кухней на первом этаже. Помню, как до войны к нам в гости приехала моя бабушка из деревни. Утром все ушли на работу, меня отвели в садик, а она осталась дома одна. Когда мы снова собрались, бабушка поделилась своими впечатлениями: «Так много людей прошло мимо окна, и ни одного — из нашей деревни!»

Наш дом разбомбили в сентябре. Я и мама были в это время в бомбоубежище. Оно было оборудовано в каменном здании. Там были вода, радио (чёрная тарелка), по нему объявляли, что где произошло. Дома оставался мой брат Лёня, ему было семнадцать лет. Он прилёг на кровать после ночного дежурства: тушил зажигалки на крыше. Мама предлагала Лёне пойти с нами, но он сказал, что не может вместе с женщинами и детьми прятаться в бомбоубежище.

И вот объявили, что в здание № 53 попала бомба. Это был наш дом. Мама побежала туда, я — за ней. Вместо дома была яма... А навстречу бежал Лёня, живой и здоровый! Его выбросило взрывной волной с кровати на проспект Обуховской Обороны.

После бомбёжки мы остались ни с чем: голые, без документов, без жилья. Мамин двоюродный брат, Белоусов Иван, приютил нас в своей двадцатиметровой комнате на втором этаже по Херсонской улице, это на Старом Невском. Он работал инженером на Кировском заводе. Когда завод вывозили в Челябинск, специалисты уехали вместе с ним, и брат тоже. Перед отъездом он сказал, чтобы мы пользовались

всем, что есть в комнате. Мы с мамой стали жить тем, что осталось от брата и его семьи. Топили буржуйку одеждой, книгами, дубовой мебелью, шёлковыми одеялами. У нас собирались близкие, соседи по коммуналке, знакомые, чтобы погреться. Воды в квартире не было, мы с мамой ходили за ней на Неву. Зимой делали лунки во льду. От пролитой на ступеньках дома воды образовывались ледяные горки. Поднимаясь по лестнице, люди скользили и падали.

Все опухли от голода, и мы с мамой тоже. Ноги как тумбы, внутренние органы не работают... Я спрашивала маму только про еду: как варят картошку, надо ли наливать воду... Кто-то уже ничего не соображал от голода. Дошло до того, что мы были как ходячие скелеты.

Хлеб был с добавками, чёрного цвета, тяжёлый, как глина. Мы его резали на мелкие кусочки и сушили, чтобы есть понемногу.

Ели столярный клей, которым делились друг с другом, перец, лавровый лист, жарили хлеб на олифе.

Лежали в тряпках, иногда выползали на улицу, а там снег, мороз сорок градусов. Иногда врачи заходили, иногда девушки-добровольцы: проверяли, нет ли умерших.

На карточках было написано: «мясо», «масло», — но давали только хлеб. Очередей больших не было. Ходили на Бадаевские склады после пожара и собирали снег с соком капусты. Это было лакомство. Иногда получали талоны на дрожжевой суп. На углу Исполкомской и Староневского была столовая, там мы отдавали талоны официантке, а она приносила мутную жидкость, в которой не было ничего, кроме дрожжей и соли.

Кто-то ходил в театр музкомедии, отвлечься. Но мы с мамой не ходили. Не было сил.

Помню, как я собирала в Александро-Невской лавре зелёные листья и траву, из них мама пекла лепёшки. Этими лепёшками мы угощали и папиного родного брата, который иногда заходил к нам. Дядя Коля работал следователем в «Большом доме» на Литейном. Он был очень худой, как мы, и не получал по карточкам больше, чем все.

Был такой случай: я очень просила у мамы оладьи. Почему оладьи, не знаю... Мама пошла на рынок и выменяла на отрез бостона поллитровую банку муки. Это была большая удача, и мама радовалась. Муку она развела водой и стала жарить оладьи на олифе. Они очень хорошо отставали от сковородки. Я схватила одну оладью — во рту обожгло, было очень горько и противно. Мама тоже не смогла их есть. И тут как раз к нам пришёл дядя Коля. Он голодными глазами ошарашенно смотрел на тарелку с оладьями: «Откуда?» И съел их все. Позже выяснилось, что какие-то женщины на рынке под видом муки продавали порошок для чистки алюминиевой посуды с добавлением муки... Мы боялись за дядю Колю, но ничего плохого с ним не произошло.

Как-то перед войной папа принёс домой несколько пирожных к чаю. Каждому досталось по пирожному, и ещё одно осталось. Папа предложил мне съесть второе пирожное, а я отказалась. И потом всю войну вспоминала это несъеденное пирожное...

Мой папа, Ковалёв Афанасий Михайлович (1902 года рождения), был военнообязанным. Он сам явился в военкомат и попросил отправить его на фронт. Однажды машина, в которой их везли, наскочила на мину. Его ранило в голову, в лицо, в живот, в обе ноги, в руку. Он лежал в госпитале, вернее, это была школа, оборудованная под госпиталь (Лиговка — Обводный канал). Маму к нему пускали, а меня — нет. Раненых нечем было кормить, в госпитале даже объявления висели: воды нет, еды нет... Раны у папы начали заживать, но из-за ранения в живот ему требовалось особое питание. Мама обменивала на Конном рынке (Херсонская улица) свои 125 грамм чёрного хлеба на кусочек белого для папы. Но это не помогло. Папа умер в 1942 году. Мама щадила меня, о многом не говорила, не сказала даже, что папа умер.

Мой старший брат Лёня тоже рвался в бой, но его не взяли. Только когда ему исполнилось восемнадцать лет, он был призван в армию и попал на Ленинградский фронт. Иногда Лёня приезжал на какой-то машине и забегал к нам на не-

сколько минут: тощий, оголодавший... Как-то раз он увидел цветок на подоконнике и спросил у мамы: «Можно ли этот цветок есть?» Воевал Лёня недолго: через полгода он погиб на станции Песочная. Где похоронен — не знаем.

В начале сентября 1942 года нас с мамой эвакуировали на Большую землю с Финляндского вокзала по Северной дороге. Ехали мы на поезде, занимали сидячие места в плацкартном вагоне. Перед отправкой всем выдали по буханке хлеба и предупредили, что есть можно понемножку, об этом даже объявляли по радио на вокзале. Но мама хотела съесть весь хлеб сразу. Мне пришлось её удерживать. Кто не смог устоять, умирал...

Через Ладогу плыли на барже. Бомбили и поезда, и баржи. На наших глазах немцы потопили одну такую баржу с людьми...

На другом берегу нас накормили манной кашей, дали банку сгущённого молока и плитку шоколада на каждого. Но хлеба почему-то не дали.

Эвакуировали нас в глухую башкирскую деревню Тарабердино Кушнаренского района, это в пятидесяти километрах от Уфы. Мы так плохо выглядели, что местные жители нас даже боялись. Здесь почти ничего не знали о войне: ни газет, ни радио не было. Хозяева, у которых мы жили, имели огород, корову, кур, гусей, овец. Нас они кормили всем, что у них было. Лицо у меня сразу округлилось.

Иногда нам выдавали вино для поддержания сил, вместо витаминов, а мы относили его хозяину. Он был очень этому рад и взамен давал нам солёные арбузы, огурцы, помидоры. Школа, где я училась, находилась в четырёх километрах от деревни. У меня не было обуви, и я рыдала: не хотела идти туда в лаптях. Мне раздобыли калоши.

Позже нам разрешили занять любой пустующий дом, и мы переселились в соседнюю деревню. Рядом с нами стоял ещё один дом. Мама зашла туда и увидела четверых детей, которые жили одни. Старшей девочке было 13 лет, остальным — двенадцать, пять и самому младшему — около

двух лет. Все оборванные, сопливые... Мама спросила: «Где ваши папа и мама?» Дети сказали, что мама умерла до войны, а папа на фронте. Мама стала их обихаживать: стирала, убирала, еду готовила, колхоз выделял какие-то продукты. Мама их всех жалела.

Дети попросили нас жить у них. И мы переселились к ним в дом, так было удобнее всем. Дети написали папе в письме, что тётя Шура им помогает, а папа в ответ написал: «Спасибо тёте Шуре». Он дошёл до Берлина и вернулся домой — статный, по возрасту — как мама. Привёз всем подарки: отрезы ткани, шерстяные свитерки детям. Мне он тоже подарил свитер и кусок ткани.

В 1946 году Семён Филиппович сделал маме предложение. Он сам подошёл ко мне и спросил, не буду ли я против, если они с мамой поженятся. Я очень удивилась, что со мной советуются в таком важном деле, и согласилась. Они расписались и жили хорошо, дружно. Когда у мамы отнялись ноги и она слегла, то Семён Филиппович куда только не возил её, чтобы вылечить.

Со временем жизнь устроилась, дети выросли, старшие женились, вышли замуж, но мама рвалась в Ленинград. Она как-то уговорила Семёна Филипповича, и в 1952 году мы приехали к тёте Ане на Коломенскую, 15. Спали на полу.

Нам удалось прописаться только во Всеволожском районе, на съёмной квартире. Чтобы получить ленинградскую прописку, нужно было доказать, что мы жили в Ленинграде до войны, а никаких документов у нас не было. Была только маленькая бумажка — эвакуационный листок, в котором было написано, что нас, маму и меня, такого-то числа эвакуировали из города. Мы не догадались, что его можно считать документом. Но когда я всё же показала эту бумажку в какой-то канцелярии, мне сказали: «Что же вы раньше молчали, этого достаточно для прописки!» Позже мы получили двенадцатиметровую комнату в Автово, но только на меня и на маму, так как Семён Филиппович не жил в Ленинграде до войны, поэтому они с мамой так и остались во Всеволожском районе.

Мама умерла в 1957 году. Семён Филиппович очень переживал и через три года тоже умер. Моему сыну Андрею удалось установить, что во время войны Семён Филиппович был представлен к медали «За отвагу», но не получил её.

Мои родные живут в другом городе, поэтому мы редко встречаемся. В прошлом году я виделась со своей правнучкой Алисой, ей тогда было пять с половиной лет. Алиса спросила у меня, что такое блокада и голод. Я немного рассказала ей об этом. Алиса задумалась, потом спросила: «Даже детям еды не было? И нельзя было никак прорваться, чтобы хотя бы детям привезти еду?» Я сказала: «Конечно, прорывались, но всё равно еды не хватало». И тут случилось неожиданное: она взяла мою руку и поцеловала её...»



Валерий Кожушнян

г. Днестровск,
Приднестровская Молдавская Республика

ЗИМНИЙ ЛОВ

На реке неслыханно фартово брали рыбу. Редкие для юга холода накрепко сковали реку ледяным панцирем, и всё живое задыхалось под этим суровым покровом. Измученная нехваткой кислорода, рыба шла к открытой воде, натыкаясь на крючья, остроги и прочие замысловатые браконьерские снасти. Высвечивая глубины открытой воды, добытчики терпеливо поджидали одуревшую от удушья рыбу. В неверном, трепещущем свете фонарей и факелов лёд казался красным. Добывали рыбу сверх всякой меры. Одурманенные возможностью лёгкой добычи, на реку валом валили мужики и пацанва.

Задолго до рассвета здесь начиналось оживление, будто невидимый командующий собирал свои войска на ледовое побоище. Рыбинспекторы сбились с ног, да и что они вдвоём могли сделать с такой ненасытной оравой? Общественность поднимали, милицию привлекали, а охотников до дармового лова не убавлялось. В тёмное время суток стражи рыбных богатств соваться к реке не рисковали: ненароком и бока намнут. Так что разбой вёлся по всем хрестоматийным канонам — ночью. Но и с первыми проблесками утра народу на реке не убавлялось. Фарт рыбацкий! Какая тут опаска, всех не переловишь. Да и каждый думает про себя, что он ловчее других и вряд ли попадётся. Иные раззявы попадались на инспекторский «крючок», но и те отделывались лёгким испугом — мелким штрафом или рыбой. Поближе к реке ухо улавливало отдельные звуки: звон раскалываемого льда, ругань, радостные возгласы особо удачливых добытчиков, перекрики отдельных рыбацких ватаг. Со стороны случайного зеваки могло показаться, будто идут многоголосые торги на стихийной ярмарке...

Валька с дедом чуть запоздали. Над дальним заречным лесом уже брезжил рассвет, а для истинных рыболовов эта пора считалась поздней, когда они вышли из дому. Лучшие места наверняка уже были заняты, и опоздавший рисковал остаться вообще без добычи. Разве что мелочь какую мог добыть. Не более. А ведь готовились с дедом загодя, с вечера подвесили просушиться обувь, одежду верхнюю, спать легли пораньше. И дед твердил перед сном, что он раньше петухов встанет. Проспали... Не-е-е, с таким рыболовом, как дед, Вальке удачи не видать.

Зачинщиком этой рыбалки невольно оказался сам Валька. Пришёл на днях из школы (в четвёртый класс ходит) и рассказал о неслыханных рыбацких удачах, выпавших на долю отцов и братьев пацанов из их школы. Мешками, мол, волокут рыбу домой, заключил свой рассказ взбудораженный внук. Дед только неопределённо хмыкнул на это сообщение, зато бабка! Прямо-таки винтом взвилась. Тут же побежала разнюхивать, правду ли говорит внук. Вернулась она вовсе расстроенная, лица на ней не было. Видать, подробности оказались ещё более ошеломляющими.

На следующий день были объявлены сборы, по спешности и бестолковщине очень напоминавшие сборы первых дней военных действий. Никакие возражения и доводы бабкой в расчёт не принимались. В свою очередь мужской половине дома она выставляла аргументы сокрушительные и неопровержимые: будет рыба — будут деньги, будут деньги — обнову кое-какую можно будет справить и даже, может статься, на чекушку деду обломится. Бабка явно выкинула крупный козырь, деду крыть нечем было. Она успела даже договориться с соседом Моисеем Ароновичем насчёт продажи улова. Жена у соседа маялась не то желудком, не то печенью. Одним словом, ей нужна была рыба. Непременно судак или карп, или на худой конец жерех. Деньги посулил большие.

— Вот дурна старуха! Хто ж продае воздух? Ще нема ни кильки, а вона вже торгуе. Ты бачь, яка дура!

Дед в сердцах хлопал себя по коленкам. Он сидел спиной к печке, отогревал застуженную спину. Давала себя знать

Сибирь, куда упекли деда за невесть какие страшные грехи, о которых при внуке он не распространялся. Это случилось, когда Вальки и в помине не было.

Однако бабка загорелась с той неожиданно ярой силой, какая вспыхивает в душе у хронически бедных и потому скупых людей. Особенно явно наблюдались такие вспышки при малейшей возможности лёгкой наживы. Шутка ли, сколько можно заработать на мешке с рыбой: на хозяйство хватит, особо в нудные зимние месяцы, покупки сделать кое-какие, а в первую голову валенки внуку приобрести. Зима застала бабку, что называется, врасплох. Да мало ли что можно позволить себе при деньгах?

Дед поначалу легкомысленно отмахивался: мол, какой из него рыбак? Удочку толком в руках не держал, что уж говорить о более серьёзных снастях. Но отделаться от бабки таким слабым доводом равносильно было тому, что речку кепкой вычерпать. Доведённая упорством мужа, она грозилась сама пойти на речку на позор им обоим. Словно пешнёй лёд, бабка долбила деда, вбивая в его голову простую и ясную мысль — особого труда эта рыбалка не требует, только подставляй мешок. Люди врать не будут. Дед хоть и с характером мужик, но такого натиска и он не выдержал. Конечно, сработало и упоминание о чекушке. И вот они шагают на рыбалку.

Нехотя, словно раздирая смёрзшиеся веки, рассвет поднимался над посёлком. Мороз больно щипал ноздри, приставал к щекам, лез в рукава и за ворот пальто. Под ногами неподатливо хрумкал снег. Где-то на дереве робко тренькала продрогшая синица, хорохорились над дымящимся навозом воробьи. Улица, обрамлённая строгими шеренгами тополей, густо припорошена инеем. Над домами, распушив серые кошачьи хвосты, дремотно шевелились дымы. «И охота в такую холодрыгу летать?» — подумал о птицах Валька.

— Мороз-то, а? — не то одобряя, не то осуждая, проронил дед. — Годков пятьдесят нэ було такого.

Валька промолчал. Дедова словоохотливость на этом иссякла. Он широко вышагивал впереди Вальки, только топор да грабли позвякивали на плече. Снасть, что и говорить,

настолько бесхитростная, что хуже и не придумаешь. Мастерить лучшую не было ни времени, ни сноровки у деда. Бабка так торопила добытчиков своих, что изладить что-либо и Левша не сумел бы. Боялась старая, кабы всю рыбу не выгребли, останется она тогда с носом. Дед рыбачить не любил, считал сие занятие для мужика пустым делом, потому и снасти подходящей в доме не водилось.

Валька семенил сзади, поёживаясь от холода. Задубевшие сапоги словно звенели на морозе. Печное тепло, что накопили их обувь и одежда за ночь, выветрилось в считанные минуты. На заиндевевших улицах пустынно. Иногда хлопьями сажи падали на дорогу вороны, выискивая что-то в снегу. Валька вертел головой, тревожно всматриваясь в конец улицы — не идёт ли кто? Он никак не мог привыкнуть к виду грабель и злился. Топор — куда ни шло, но грабли в такую пору — дурь, да и только. Потеха для случайных прохожих. Валька всё норовил свернуть в обход, где человек в такую рань — редкость, но дед упрямо вёл короткой дорогой. Сердито сопел и цыкал на внука за чрезмерную строптивость.

Когда рядом раздалось: «Дед, ты шо, на огород собрался?» — у Вальки больно сжалось сердце. «Говорил ему, айда в обход, так нет...» Дед не ответил на подковырку острослова, только громче обычного засопел.

— Слышь, дед, никак редиску сеять пошёл? Не рановато ли? — гоготнули сзади. Валька оглянулся и узнал Борьку из соседнего двора. Это не Борька, а настоящий жлобяра. Его все звали по имени — и стар и млад, — хотя детине за тридцать перевалило. Единственным делом в его жизни была рыбалка. А на остальное, как он сам выражался, болт положил. В свободное время с пацанами-малолетками ошивался. Нет чтобы с девахой какой-нибудь пройтись, в кино её повести, туда-сюда, Борька на речке пропадал сутками. Недоумок, одним словом.

Дед, не оглядываясь, бросил:

— Охота зубы поскалить? Хиба лишние заимел? Дёргай отседова, а то зацеплю невзначай, — он угрожающе шевельнул граблями.

Зная характер деда, Борька исчез в ближайшем переулке. Валька насупился и обиженно шагал рядом с дедом, готовый заступиться за него в любую минуту.

— Эй, мил человек! Никак на усадьбу подался?

Дед затравленно оглянулся. Плюгавенький мужичонка, аккуратно укутанный в малопоношенный полушубок, догонял их. Огромный подсак за плечами раскачивался в такт его мелким шажкам.

— Ах ты, холера пузатая, и вин туда же! Шоб тоби провалиться! — дед подался в сторону шутника. Тот резво отдалился на приличное расстояние.

— Малахольный какой-то. Уже и пошутить нельзя. Какие мы, ёлки-моталки, психованные, — забормотал, отставая, упакованный в шубу мужичок.

Встретилось ещё несколько утренних остряков, но дед словно воды в рот набрал. На таком морозе остроумие быстро иссякало, и до конца пути ни один из случайных попутчиков не раскрыл рта.

К реке подходили, когда почти совсем уже развиднелось. Но даль оставалась мутной и унылой, словно жизнь послевоенного колхозника. Над самой рекой дымились проруби. Рассыпанным гравием темнели на льду рыбаки. С кручи это сходство особенно ощущалось. Некоторые из рыбаков поднимались с тяжёлой ношей в облаке морозного пара. Это удачливые добытчики возвращались домой. Но народу на реке оставалось ещё порядочно.

В студёном воздухе резко пахло рыбой, и этот запах перемежался с тем едва уловимым запахом открытой воды, который ощущается только ранней весной.

Особенно густо стояли мужики на берегу небольшого заливчика. Шныряла среди взрослых пацанва. Валька и дед спустились поближе. У многих топтавшихся на берегу в руках подсаки разного калибра, у иных эта снасть сделана из тюля.

— Бачь, шо робят? Скоро матрасами будут ловить, — с сарказмом отметил дед. Но, вспомнив про грабли, больше ничего не добавил.

Среди разношёрстной толпы Валька заприметил немало знакомых лиц. Он запереживал с новой силой: как бы паца-

ны их не заметили, замучают потом в школе насмешками. На вновь подошедших никто, однако, не обратил внимания: все были заняты рыбой, всех захватил азарт.

Ох уж этот азарт! Мир сузился до полоски свободной воды у берега заливчика. Задыхаясь, глупый малёк лез подышать к открытой воде, а оказывался в обледенелом мешке добытчика. Малька брали даже охотней. Поначалу брезговали мелкой рыбёшкой, в основном ребятня ею промышляла. Рыбаки поопытней охотились за крупняком. Но потом разнюхали: малёк на великолепный засол годится. Деликатес почище твоих шпротов будет. Иные уже по нескольку бочек заготовили, а всё мало.

Казалось бы, сам по себе азарт ничего худого в себе не несёт. Но когда он произрастает из неистребимой человеческой жадности — всё, хана, разор реке, лесам, да и всей округе.

Подсаки ритмично выхватывали из воды трепещущее серебро. Мешки на глазах грузнели и пухли. У добытчиков остекленевшие глаза, руки быстрые, хваткие — и мороз им нипочём. Рыбалка ведь для души придумана, а тут настоящий грабёж происходит.

От крови, потрохов раздавленной рыбы, от россыпи чешуи на льду, от чёрных ошмётков сгоревших факелов Вальку замутило. Всё перемешалось в его глазах, и он вдруг пожалел, что согласился пойти с дедом на речку. Он знал другой азарт, когда с удочкой сидишь где-нибудь на коряге и таскаешь округлых окуньков. Да и то с кукан наловишь — и хорош. А здесь...

Слух улавливал простуженный смех, матерки, хлюпанье воды... Взгляд не выделял ни одного примечательного лица среди этой очумевшей толпы. Сплошная серая масса. Охота к рыбалке пропала. Потянуло домой, к тёплой печке. А может, это сон? Открыть глаза — и ничего этого нет? И зачем он рассказал бабке про рыбалку?!

Они немного прошли берегом, поближе к более солидной рыбацкой публике. Оба молчали. Валька не выдержал, в переполненной душе закипал протест.

— Нечестно так! Ловят и ловят мальков! Зачем они так? —

заглядывая в лицо деду, с дрожью в голосе задавал вопросы Валька.

— Жадность всё, от неё всякое паскудство, — зло сплюнул тот. — Не нажрутся нияк.

Он поморщился. Замотал головой, будто воротник тесен стал.

— Караул! На помощь! — резанул слух чей-то дикий крик. Они обернулись. У самого края огромной проруби на коленях стоял мужик. Правая рука судорожно дёргалась над водой, сжимая острогу, левой мужик намертво вцепился в ледяной край, ясно замечались побелевшие пальцы рыбака. Несколько фигур метнулось в сторону орущего. Тесно обступив прорубь, подоспевшие помощники завозились над ней. Кто-то обхватил ополоумевшего крикуна и держал его, с риском для себя, над самой водой. Прорубь бурлила, выплёскивая воду на лёд. Остальная часть зевак молча ждала финала этой невидимой борьбы. Добровольные помощники крыли матом кого-то там, в глубине, пританцовывали у края проруби, едва не сваливаясь в чёрный зев открытой воды. Наконец спины выпрямились, и на лёд тяжело плюхнулся здоровенный карп. Дед и Валька подались к толпе.

Валька был поражён: это ж надо, какие чудища водятся в их реке! Не менее внука удивлён был и дед. В рыбине было килограммов двадцать весу, а то и более. В спине чуть наискось торчала острога. Густая кровь медленно сочилась на лёд. Карп дёрнулся в предсмертных судорогах, сильно ударил хвостом. Алые брызги полетели в лицо хозяина остроги.

— Ах ты, мать твою... брыкаться ишшо, — зло взвизгнул мужик. Подхватил лежавшую неподалёку пешню и неистово заработал ею. Карп отчаянно изогнулся, ударил хвостом. Погнутая острога закачалась, угодив бьющему по лбу. Мужик остервенел. Наступил на карпа и с силой выдернул острогу. Брызнула кровь.

«Как у человека», — мелькнуло у Вальки.

Мужик орудовал железякой и приговаривал:

— Я те, на тебе... Падла, утопить меня хотел?! Н-на!

Толпа зевак росла. Охали, цокали языками в восхищенье, качали головами. У всех жадные, завистливые глаза: вот так

удача выпала человеку! Мужик вспотел, сдвинул ушанку на затылок. Карп давно уже затих. Из размозжённой головы летели на лёд кровавые ошмётки, красное пятно под ним ширилось и густело. Но избиение продолжалось. Видно, крепко перетрусил мужик и теперь в жестокости своей хотел растворить пережитый страх. Из трусливых, известное дело, всегда получались садисты всех мастей и подлецы всех рангов. Удары глухо разносились по реке — умб, умб, умб... Сапоги бьющего всё гуще покрывались кровавым крошевом и чешуёй.

— Может, хватит дубасить? Не уйдёт ведь, — не выдержал кто-то из наблюдавших.

— Чо хватит?! Чо хватит?! — сузил побелевшие глаза мужик. — Чуть, сука, не утопил меня! — последние слова он выкрикнул, но пешню бросил. Сплюнул, устало пнул изуродованного карпа. — У-у, зараза!.. — стал дрожащими пальцами мять папиросину. Обшарил зевак своими белёсыми зенками и, заметив жадный блеск во многих взорах, довольно хмыкнул.

Рыбаки спохватились, засобирались домой. Многие с добычей. Кто-то вспомнил рыбинспектора, в толпе посмеялись: куда, мол, ему! На печке, небось, лежит.

При сером зимнем свете ещё печальней выглядело место, на котором истязали рыбину. Желание рыбачить, по всему видать, пропало и у деда, однако он бодрился.

— Таку, мабуть, не споймаем. Хоть мелочь яку...

Валька промолчал. Он уловил в голосе деда неестественные интонации. В его маленькой легко ранимой душе всё кипело. «От гады, всё им мало. Ещё издеваются, знают ведь, рыба кричать не умеет...»

Дед покосился на внука. «Жалеет, дурачок. Эхма, не рыбу надо жалеть, нет, не рыбу, а самого гетьмана природы, шоб ему пусто було на этом и на том свите...»

Каждый во власти своих мыслей и чувств, навеянных увиденной картиной добычи рыбы, они незаметно отошли далеко от людского скопища.

Остановились у самой дамбы. Всего несколько лет, как насыпали её. В этом месте река выкидывала фортель, этакую загогулину, и весной плоский правый берег начисто уходил

под воду. Затоплялись регулярно и колхозные огороды. Маялись колхозники, да и соорудили дамбу. Место здесь пустынное, зимой рыбаки сюда не любили ходить. Со дна реки били ключи, и лёд в этих местах был ненадёжным. В иные зимы река тут оставалась открытой. То ли старик об этом не знал, то ли надоело ему болтаться в поисках добычливых прорубей, то ли от людей норовил уйти подале, но выбор пал на это незадачливое место. Присели передохнуть на вмёрзшее бревно, бог весть из каких далей приплывшее к берегу. Дед не спеша достал сигареты, закурил. Валька потянулся было за мешком, где лежал свёрток с едой, да раздумал, аппетит пропал. Дед докурил, встал.

— Ты посиди тута. Я пийду побачу, где лучше лунку зробить.

Он заскользил к середине реки. У берега лёд был чистый, через него видно песчаную рябь на дне. Кое-где лёгкой тенью мелькали сеголетки. «Рыба и тут есть. Чего они всей кучей ходят?» — с неприязнью подумал о рыбаках Валька. Он взглянул на далеко ушедшего деда.

— И куда его понесло, провалится ведь, — вслух забеспокоился внук. — Ну, дед, с тобой только на рыбалку ходить...

В этом деле Валька считал себя намного опытнее. Летом худо-бедно, а приносил домой рыбу. Валька скосил глаз на грабли: «Ни черта с ними не поймаешь, надо бы подсак да острогу». Душа его немного успокоилась. Мирный вид грабель настроил его мысли на хорошее. Радостью кольнула мысль о каникулах. «Эх, наконец-то высплюся», — потянулся с наслаждением.

Впереди послышался лёгкий треск льда и торопливый перестук дедовых сапог. Старик, смешно переставляя ноги, нёсся к берегу.

— От, холера, жидкий який, — едва переведя дух, ругнулся дед.

Негнущимися пальцами стал расстёгивать ширинку. Справив нужду, повернулся к внуку.

— Може, ты сходишь? А шо? Ты малэнький та легкий, — утвердился дед в своей мысли. — Там, навроде, рыбина вмёрзла, выдолбишь. Як раз Ароновичей жинке пидойде.

Не вертаться ж нам порожняком?! Бабка тоди выдаст нам на горихи.

У Вальки мелко затряслись колени.

— Страшно-о-о, — поёживаясь под дедовым взглядом, выдавил он из себя. — Ты же сам видел, какой здесь лёд тонкий.

— Тебэ вытрымае. А ежели шо, трымайся за воду, — неуместно сострил дед.

Валька живо представил, как он идёт ко дну, как мечется и рыдает возле проруби дед, и у него вмиг ослабли ноги и похолодело в животе. И людей вокруг нету...

— Чуть шо, — вернул к действительности голос деда, — вытягну!

Старик красноречиво потряс поднятыми граблями. Валька непослушной рукой взял топор и осторожно двинулся вперёд. Пройдя несколько шагов, тоскливо оглянулся на деда. Тот спокойнёхонько уселся на бревно, положив рядом грабли.

«Вытягну-у, — передразнил про себя старика Валька, — и ойкнуть не успеешь, как...» Валька телом ощутил обжигающую воду. От страха он даже остановился, ноги невольно перешли на чечётку: неохота умирать в десять лет.

— Чего ты там, примёрз чи шо? — в спину шарахнул, словно выстрел, дедов вопрос. Валька вздрогнул и на негнущихся ногах потихоньку стал продвигаться вперёд. Топор оттягивал руку, хотелось отбросить подальше этот лишний груз. Валька боялся оглянуться назад. Наверное, он далеко ушёл от берега. С каждым шагом всё острее становилась боль в животе, нестерпимо захотелось по большой нужде, на лбу выступила противная испарина. «Ну дед дурной, ради рыбёшки дохлой на верную смерть толкает. Если не провалюсь, в штаны точно наделаю...» К страху примешалась и обида. Лёд под ногами предательски затрещал. Валька почувствовал, как засвербило в пятках. Он вдруг сразу ощутил всю свою тяжесть. Сердце гулко заколотилось у самого горла. Валька сиротливо заозирался, ища хоть соломинку.

Вокруг было гладко и безжизненно. «Где же проклятая рыбина? Дед к тому же врун», — нехорошо подумал о старике Валька. Нечаянно его взгляд наткнулся на рыбу. Это был

небольшой судачок, неловко, боком вмёрзший в лёд. Жалость воробушком шевельнулась в истерзанном страхами сердце мальчугана. Он сделал несколько неуверенных мелких шагов. Лёд больше не трещал. Валька осмелел немного, опустился на корточки, торопливо затюкал топором. Назад летел, не чуя ног под собой, крепко зажав в руке злополучного судачка.

— А вроде бильше була? — дед придирчиво осмотрел добычу. — Може, ты не ту выдолбил?

— Не-е, ту. Тама больше не было.

— Ну добре, — согласился дед. — На безрыбье и хрен рыба.

Отошли на новое место. Наткнулись на готовую прорубь, затянутую лёгким ледком. По всему было видно, что здесь ночью кто-то пытал рыбацкое счастье, и, кажется, не напрасно. На льду алели расплывчатые пятна крови, блестела чешуя.

— Мабуть, ни черта здеся нема, — засомневался дед. — Бачь, скильки кровищи! Живоглоты жаднючи, холера им в бок, — адресовал старик проклятие неведомым добытчикам.

Вальке надоело переходить с одного места на другое: так они ничего не добудут. А с обеда ему ещё в школу идти надо. И он не выдержал.

— А чо ходить? Ждать надо, как это люди делают. Ты хочь сразу споймать, да ещё граблями.

Дед усмехнулся в прокуренные усы, но смолчал. Ждали долго, почти час. Здорово пошурудили здесь рыбаки, перепугали всё живое. Валька продрог, стал тихонько притоптывать сапогами. Дед скосил взгляд на обувку внука и заиграл желваками. Ни с того ни с сего заматерившись, он низко склонился над прорубью, всматриваясь в глубину. Однако рыбы не видно было.

Вдруг он замер, словно охотничья собака, почуявшая дичь, осторожно опустил грабли в воду. Потом, смешно заелозив на коленях, придвинулся к самому краю проруби. Валька крутился тут же, мешая деду соблюсти осторожность. Где-то на метровой, от силы полутораметровой, глубине, жадно работая жабрами, застыла небольшая, с ладонь, рыбёшка. Вальку забил озноб. И его захватил азарт. Он пожалел, что не взял

остроги у своего дружка Кольки. Но представил, как острое железо вонзится в это маленькое беззащитное тельце, обрадовался, что нет у них этого страшного орудия лова. Валька решил помешать деду.

— Брысь отседова, в душу твою... — прошипел старик. Валька притащил мешок и взял дрожащего подлещика. Судорожно хватая морозный воздух красными жабрами, он слабо дёргался всем тельцем. Ещё не совсем представляя, что делает, Валька подошёл к проруби. Оглянулся на деда. Тот парковой статуей застыл над другой пробоиной во льду. Валька осторожно опустил рыбку в воду. Не веря своей свободе, та безжизненно легла на бок. Потом тихонько, недоверчиво шевельнула хвостом и ушла в ледяную глубину.

Валька пошёл искать вмёрзших рыб. Он уже не пугался треска льда, притерпелся. Выдолбил небольшого окунька и плотвичку. За работой забыл о холоде и даже маленько разогрелся. Однако кирзовая обувка не спасала, и ноги почти занемели.

Наконец и старика пробрал мороз. Он вышел на берег, бросил обледеневшие грабли на снег и трубно высморкался. Съёжившийся от холода, с сизым носом, старик походил на подвыпившего забулдыгу. Валька невольно хихикнул. Дед только бровями шевельнул: нехай веселится, лишь бы не скулил от холода. Растерев застывшие руки, дед помянул всеми святыми мороз, рыбалку, бабку, пару соседей, речку, дамбу и матерей всех национальностей, какие помнил, и взялся пересчитывать добычу. «Ну, счас и до меня доберётся», — выслушав, каким устрашающим действиям подверг длинный ряд неодушевлённых предметов и одушевлённых субъектов старик, с тоской подумал Валька. Всех живых рыб, добытых дедом, он тайком выпустил, а вместо них подсунул выдолбленных из-подо льда. Замена оказалась явно неравноценной. Из опрокинутого мешка выпало несколько рыбёшек. Дед перебрал их, будто щепки, досадливо хмыкнул и взглянул на внука. Тот носком сапога ковырял снег. Дед красноречиво помолчал и вдруг неожиданно сказал:

— И хрен с ими!

Валька вскинул голову и встретился со смеющимися глазами деда. Старик поспешно стал собирать рыбу в мешок.

— Ну, гайда домой. Без рыбы обойдётся.

— Кто, деда?

— Да этот, сосид моржовый. У его зимой снига не выпросышь. В рот ему потны ноги, а не рыбу.

— Бабка ругаться будет...

— Нэ буде. Знаешь, шо мы ей скажем?

— Ну?

— Мол, нас инспектор нагнал, вот и рыбы нема. Чуешь?

— А эти куда денем?

— Який упёртый. Скажем, шо вин нам на уху оставил.

Дед взял топор, грабли, закинул снасть на плечо. Вальке отдал мешок. Двинулись домой. Молчали. Дед искоса поглядывал на внука и о чём-то думал.

— Не журись, Валька, валенки я тоби сварганю. Шоб мэне гром побыв, сварганю. Тут один у мэне гроши брав, треба забраты долг. Хотив суби пиджак зробыть, обойдусь. Ты токо бабке ни словечечка, чуешь?

Валька согласно кивнул головой. Мыслями он уже был дома, возле тёплой печки. Вчера он в библиотеке взял интересную книжку и представил себе, как после школы засядет с ней у печки. Хорошо! А через два дня каникулы. Новый год потом, самый любимый праздник. Бог с ней, с рыбой! Он её лучше весной и летом поймает. Много поймает, чтобы бабка не ругалась, будто он дармоед.

Когда поднялись на дамбу, остановились, восстанавливая сбитое подъёмом дыхание. У деда смешно посвистывало в носу. Он оглянулся на реку, задумчиво пожевал ус, произнёс решительно:

— Ну-ка, погодь, я счас...

Сбросил грабли, поудобней перехватил топор и, переваливаясь, колобком скатился к реке. Через мгновение раздался звонкий удар топора о лёд.

Валька сразу понял манёвр деда: «Для рыбы делает», — улыбнулся про себя и радостно замахал почти порожним мешком над головой, будто подбадривая старика.

Людмила Колбасова

г. Балашиха, Московская область

МАТЬ

— Киса-киса, — звала бабка Пелагея, — куда же ты опять запропастилась?

Маленькая сухонькая старушка в белом платочке стояла на деревянном крылечке с тремя покосившимися ступенями и глядела окрест. Её дом на окраине села был самым обветшалым. Редко где проглядывала ещё не до конца облупившаяся зелёная краска, крошился и просел фундамент, покосились оконные рамы. Внук — сын покойной дочки, как наведывался, — всё предлагал ремонт сделать. Как-то рабочих привёз, в день крышу починили, крылечко подремонтировали, но Пелагея просила больше не затеваться. Уж больно ей утомительно всё это было. «Дай мне, внучек, спокойно дожить как есть», — просила. Он возражал, заботясь о бабке, в город к себе звал. У него в районе дом большой, места всем хватит. И жена его — Настёна — добрейшая душа. Но не могла Пелагея уехать: «А как Фёдор вернётся? Я же обещала дождаться».

Фёдор — это младшенький. Это её боль и горе. Трое деток было у Пелагеи. Старшенький Алёшка военным стал, да погиб на учениях, не успев жениться. Дочку Полину болезнь забрала. Но хоть замужем побывала, сыночка успела вырастить. А вот Федя рано пошёл по кривой дорожке. И в кого только такой горячий уродился? Драться начал, только ходить научился. Как что не по его — ревёт, аж зубами скрипит от злости, всё вокруг раскидает, ногами топает. Пелагея с ним и лаской, и ремнём. Ничего не помогало. А как подрос — подворовывать начал. Плакала мать: «В голодные годы ни одного колоска с поля не принесла. Вовек ничего чужого не брала. Был бы отец...» Но отца война проклятая не пощадила.

И понеслось: колония за колонией — для несовершеннолетних, общего, а потом и строгого режима. То кража, то разбой. А последний срок за убийство дали. Федя решительно отказывался. Никто ему не верил. А мать поверила. К следователю ходила. Тот выслушал: «Вы — мать, я понимаю, но факты говорят об обратном».

— Вот именно, я — мать, чувствую его, знаю. Не убивал он. Ищите.

Но никто не искал. Посадили её Федора на десять лет. С тех пор минуло уже... дай Бог памяти, почти четверть века. «Мать, не убивал я. Ты верь мне. И дождись!» Просил прощения, сидя за решёткой в зале суда, и вытирал глаза крупной мужицкой ладонью, оставляя рубцы на сердце матери. Вот она и ждала. Разве могла уехать? А от сыночка ни единой весточки.

Сельчане жалели Пелагею: «Поезжай в город. Поживёшь королевой. Уж сколько тебе мучиться? Одна в селе за водой ходишь на другую улицу». Кто посмелее, в глаза говорили, что зря Федьку ждёт — сгинул уж давно где-то. Она не обижалась. Сердцем чувствовала, что живой.

Ждала и верила. Да вот этой зимой стал вдруг во сне приходить. Маленьким. Заберётся к ней на колени: «Мамка, согрей меня. Замёрз я». Обнимет, душа замрёт от счастья, и... просыпается. Страх закрался в сердце. Пошла к отцу Михаилу. «Сны — они от лукавого. Не бери в голову. Молись». И весь сказ...

— Киса-киса, Мурочка, — звала Пелагея и, устремив взгляд вдаль, осеклась на полуслове. «Федя», — выдохнула и побежала навстречу. Платок скинула, седые жидкие волосёнки растрепались. Плюшевый жакет расстегнула на ходу, длинная юбка путается в ногах. Добежала и упала на руки потрёпанного мужика с рюкзаком за плечами. «Сынок!» — обняла, чуть дыша. Торопливый шаг больных старых ног бегом и не назовёшь, но вместе с волнением лишил он Пелагею сил. Поднял Фёдор мать на руки, как ребёнка, и понёс в избу...

Смотрит она на седого, в глубоких морщинах, изнурённого очень пожилого человека с большими заскорузлыми руками в наколках и почерневшими ногтями — и совсем не узнаёт своего Феденьку. А мужчина улыбается, гостинцы, подарки из рюкзака достаёт: «Держи, мать», — и накидывает на плечи большую пуховую шаль и платок павлово-посадский из тонкой шерсти в диковинных узорах. Пелагея и так слаба глазами была, а тут от волнения вообще ничего не видит. Да слёзы, что годами копила, так и льются.

— Что ж это я сижу, глупая, — спохватилась и заметалась по избе. К соседям забежала радостью поделиться да попросила баньку затопить — Феденьке помыться. Соседи рады за Пелагею, но Федьку побаиваются. Вдруг опять за старое возьмётся. В селе спокойно сейчас, калитки от своих не закрывают, а чужие здесь не ходят.

В избе стол накрыла. Еда простая, деревенская. Картошка рассыпчатая с жареным луком дымится в большой миске посередине стола. Капуста квашеная, огурчики и грибочки солёные. Сало толстое деревенское да графинчик самогонки — чистой, как слеза. Соседка дала, чтобы сыночка встретила честь по чести. Федя свои гостинцы достаёт: колбаса копчёная, тушёнка, сыр диковинный — круглый, что мяч, конфеты в ярких обёртках. Пелагея смотрит, счастью своему не верит. Дождалась своего архаровца, как в сердцах раньше звала.

— Ты надолго, сынок?

— Навсегда, мать. Отгулял я своё.

Хочет Пелагея расспросить, но понимает, что не надо торопить. Хотя и сам кругом виноват, но сердце матери любит и страдает. Чем бедовее, тем пуще за него душа болит.

Утром следующего дня Фёдор всё вокруг избы ходил, присматривался. А к обеду в город уехал. Молчит, говорит мало. Глядит на мать, улыбается.

А Пелагея никак Федьку не узнаёт. Вроде бы он, а вроде и нет. Вот до чего лиходейство да тюрьма человека доводят. Ему лет-то всего чуть более шестидесяти, а старик стариком.

Грузовик стройматериалов привёз. Весь двор завалил. «Дом будем ремонтировать. Забор новый поставим. Негоже в такой халупе доживать. Заживём как короли», — и радуется.

— Деньги где взял? На ворованные не позволю, — Пелагея встала у крыльца, руки в стороны развела, — гвоздя чужого в дом вбить не дам.

— Что ты, мать, — Фёдор обнял старушку, — вот, смотри.

Разволновался, аж руки затряслись, книжку трудовую показывает: «На стройке трудился. Верь мне. Я бы к тебе с ворованным не пришёл. Знал, что погонишь». Пелагея хоть и видит плохо, но разглядела и фамилию, и имя сынка.

— Ну и будет, ремонтируй, — махнула рукой и подивилась, — надо же: трудовая книжка...

Так и зажили. Соскучились руки у мужика по домашней работе. Только солнышко встанет, он во двор спешит. Раствор мешает, доски строгает, краску разводит. Работает ловко да всё песни напевает. Как-то соскабливал старую краску с дома — и кусочек в глаз попал. «Ёкарный бабай! — зажмурившись, спустился с лестницы. — Посмотри, мать».

И опять с песней за работу...

Смотрела на работающего Фёдора и всё глубже осознавала необратимую потерю Пелагея. Леденящим страхом сковало душу, и острое неподъёмное, необъяснимое ощущение вдруг навалившегося горя подкашивало ноги. А Фёдор дом покрасил и с фасада, что на улицу смотрит, лебедей нарисовал.

Пелагея обречённо покачала головой и, смахнув слезу, в церковь пошла.

— Батюшка, отслужи заупокойную по моему Феденьке.

— В своём ли уме, Пелагеюшка? — отец Михаил в изумлении поднял брови. — Федя-то твой на всё село стучит, раньше петухов встаёт.

— Чужой он. Федя мой ни песен не пел, ни кисть в руках не держал. А уж если что в глаз бы попало, то не «бабая» вспомнил, а всех чертей с матами собрал.

Заплакала старушка, да горько так: «Сразу его не признала».

— Может, лихой человек у тебя живёт? В милицию позвонить?

— Может, и лихой. Но ко мне с чистыми помыслами, с добротой. Родной сынок так не почитал. А Федю он знал. Хорошо знал. Всё ведает из самого детства. Я позабыла, а ему известно.

— Может, всё-таки это твой Федя?

— Не мой. Нет Феди на этом свете. Поминай. Только ни одной душе. Считай, исповедалась тебе.

Дома чёрный платок надела. Кофту тёмную.

— Ты чего, мать, в траур обрядилась?

— Шибко пыльно у нас в белом ходить.

Пелагея понимала, что разговор неизбежен, но в глубине души боялась его. Страшно было расстаться с человеком, который хорошо знал её Фёдора. И сердцем чувствовала, что не просто так незваный гость появился в доме.

— Останься, разговор есть, — предложила как-то после обеда.

Фёдор догадался, о чём речь пойдёт. Мурка запрыгнула к нему колени. Не любила рук, а к Фёдору привязалась.

— Кто ты, мил-человек? Как звать тебя? И где сын мой похоронен?

Федя понурил голову, запустил пятерню в волосы, собрал их с силой в кулак, как оторвать хотел, затем вскинул вихры и смело посмотрел на Пелагею:

— Я, мать, друг сына твоего. Вместе разбойничали, в одной колонии срок отбывали, разом решили с прошлым порвать и поехали в Сибирь. Мечтал Фёдор деньги заработать и к тебе приехать чистым и не нищим. Работали за троих, копеечку к копеечке складывали. Мечтал он дом новый построить. Меня с собой звал. Мы с ним как братья были, да и лицом схожи. А меня тоже Фёдором нарекли.

Пелагея слушала, подперев ладонью щёку, и покачивала головой.

«Чистым, — запало слово в душу, — значит, не до конца пропал. И мать помнил, не совсем отбился в своём

лиходействе», — подумала. А вслух упрекнула, не сдержалась:

— Долго, однако, вы добирались. То, что чистым домой хотел приехать, — хорошо, а деньги и у нас можно было заработать. Голова его бедовая... Всегда думал наперекосяк. И не успел, не доехал...

— Надорвался Фёдор. Как понял, что немного ему осталось, — продолжал гость, — придумал поменяться нам документами, жизнями, прошлым. Рассчитались мы с работой, деньги в один мешок сложили и поселились недалеко от Абакана. Вот тогда мне Федя и рассказал всё подробно и о тебе, мать, и о соседях. И всю свою жизнь как на духу выложил. Там же и похоронил его этой зимой. К тебе долго добирался. Стрёмно было, но слово другу дал, что дом сделаю и тебя до последних дней не брошу... сыном вместо Федьки стану, — Фёдор прямо смотрел Пелагее в глаза.

Встал, засуетился: «Сейчас, только вещи соберу».

— Ты погоди вещи-то собирать. Скажи, почему в дом родной не поехал?

— А у меня его отродясь не бывало, как и матери.

— Так не бывает. «Отродясь» как раз и была. Бобыль, значит.

— Один как перст на этой земле.

— Что ж я не так сделала? Вот ты пошёл по кривой дорожке — направить было некому, а мой Федя почему?

— Да нас там, на кривой дороге, разных сословий много. Доля, видать, такая. И тебе, и ему, и мне.

Они надолго замолчали...

— Ну а раз доля такая, иди, сын, продолжай работать. На ужин тесто поставлю. Любишь пирожки-то?

Фёдор подошёл, взяв за плечи, неловко поцеловал в морщинистую щёку.

«Маленькая, худенькая — в чём только такая большая душа помещается?» — подумал и шмыгнул носом. Предательски повлажнели глаза...

— Ты скажи мне, Фёдор мой не был... — до чего же трудно давался вопрос, мучивший её всю жизнь, — убийцей?

— Нет, мать. Оговорили его. Не свой срок мотал. Грабежом промышляли, но чтобы убивать — такого не было. Да и воровали мы не у бедных.

— Всё едино грех, — но отлегла от сердца боль, что давила тяжёлым валуном с тех пор, как вышла из зала суда. Сыну верила, но свидетельские показания внесли сомнение в душу. Она терзала и не отпускала...

Так и коротали вместе дни старые, побитые жизнью Пелагея с Фёдором — мать и сын. Доживали свой век в тепле и покое в обновлённом доме и поминали архаровца Федьку, чтобы на том свете ему не было холодно от содеянных при жизни гнусных дел.

* * *

Выкапывать картошку, как обычно, приехал внук. Не удержался, сказал Пелагее: «Значит, когда я предлагал дом отремонтировать, ты отказывалась. Говорила, что не надо тебе».

— А мне и сейчас не надо. Это им — Фёдорам моим потребно...

Внук не понял, но промолчал. А сам подумал: «Бабка-то совсем стара стала. Заговаривается».

04.04.2019

БОГАТСТВО СТАРОСТИ

...прошу Вас... принять во внимание,
что воспоминания — это богатство старости...

Из письма Елизаветы Воронцовой
к Александру Пушкину

1.

Она стояла в свете яркого алого заката на высокой прибрежной скале. Солнечные лучи всем спектром цветов отражались в беспечно-спокойной зеркальной водной глади, и едва заметные волны ласкали каменистый

берег. Завораживающая красота успокаивала. Видела себя со стороны: босоногую, в пёстром ситцевом купальнике. Тугие чёрные косы до пояса. Долговязая, худенькая и счастливая в лёгком неземном покое. В который раз пыталась прыгнуть, становясь на носочки, задерживая дыхание, и... просыпалась. Страх, сердцебиение, и лёгкое счастье растворяется в ранних часах летнего утра мирской жизни...

В сетку на окне, жужжа, билась муха. Квохтанье кур во дворе, гомон птиц в саду, шум проезжающего мотоцикла постепенно возвращали Майю к действительности. Тело наполнилось болью и тяжестью. Кряхтя, с трудом опустила больные ноги с кровати. И медленно, держась за стены и дверные косяки, вышла на крыльцо.

— Как мать-то? — услышала голос соседки.

— Плохо, спит много, как будто в себя уходит, — дочка всхлипнула, — доживает, похоже, последнее.

— Девятый десяток — немало пожила, — соседка задумалась, — да в полной памяти и на своих ногах. О таком можно только мечтать.

Майя опустилась на горячее крыльцо: «И вправду зажилась», — подумала. Вспомнила сон и горько усмехнулась: «Опять не прыгнула».

Почему, когда подошла к финишу, когда земное незаметно перестало волновать, вдруг выплыли из памяти иллюзии несбывшегося счастья и любви? Несбывшегося полёта со скалы в бездну моря. Может быть, это были самые яркие и счастливые моменты в её судьбе? Но зачем тогда они так болезненны и сладки одновременно? Или это то, земное, что крепко держит её и не отпускает? Майя понимала, что её жизнь здесь полностью себя исчерпала, и готовилась к освобождению души в предстоящую вечность. Верила в неё и надеялась, что она будет сладкая и лёгкая, совсем не похожая на неприкаянное и нескладное её существование нынче. Полагалась и... мечтала хоть в той — неизведанной бесконечности, поборов страх, нырнуть в море с высокой скалы и свидеться с Валеркой...

Майя не помнила своих родителей. Осталось несколько фотографий. Отец в военной форме с ромбами в петлицах да мама в строгом костюме с камеей из морской раковины на кружевном воротнике блузки. В сорок первом они вместе ушли на фронт и не вернулись. С начала лета Майя гостила у бабушки в Крыму и осталась с ней после 22 июня. Дед, смотритель маяка, умер ещё задолго до того, как чёрные тени от самолётов вермахта начали двигаться в сторону нашей границы. Стариков и детей эвакуировали, но они не поехали. Пережили оккупацию, радостно встретили Победу.

Море — безбрежное и бесконечно-волнующее, каждый день и каждый час разное, очаровывало, притягивало и было её жизнью всегда.

Как-то на каникулах бабушка повезла Майю в столицу. В Мавзолей ходили, музей Революции. По Красной площади гуляли, Третьяковскую галерею посетили. Долго смотрела она, затаив дыхание, на полотна Айвазовского.

— Посмотри, бабушка, наше Чёрное море, как живое, дышит. Какой простор, сила, — и... домой запросилась: — Душно тут, суетно.

— Ну как, понравилась Москва? — спрашивали соседи.

— Ничего, красиво, — Майя пожимала худенькими плечами, — только моря там нет.

Тревога за безрассудную в своём бесстрашии внучку вынудила бабушку попросить соседского паренька присматривать за девочкой.

Валерка, на пять лет старше Майи, не мог отказать уважаемой на всём побережье вдове, и худая длинноногая смешливая пацанка таскалась за ним повсюду. Мальчишка был удивительным романтиком. Собирал репродукции картин Айвазовского, зачитывался произведениями писателей-маринистов.

Он сажал Майю на раму своего видавшего виды велосипеда и, преодолевая гористую местность, катал по побережью. На отцовской моторной лодке возил в бухту Ласпи — самую тёплую и живописную в Крыму, где

на склонах Главной Горной Гряды дышат вековым покоем сосновые заросли. Водил горными тропами в Храм солнца и рассказывал прочитанные книги, как героические сказки моря.

С Валеркой было интересно и надёжно. Майя даже немного преодолела страх высоты, находясь рядом с ним, и поднималась на скалу, откуда мальчишки смело прыгали вниз в морскую пучину.

— Майка, давай, не дрейфь, — кричал из воды Валерка, но она, подойдя к краю, вновь испытывала головокружительный ужас до тошноты, до слабости в ногах и отступала.

Валерке она доверяла. Он был рядом — близкий и заботливый, снисходительный и терпеливый. И свою жизнь без него она уже не мыслила.

Однажды Майя, стесняясь, подошла к нему: «Валера, поехали завтра в город, мне в библиотеку надо», — и, опустив глаза, по-детски трогательно сморщила носик.

— У меня с обеда смена. — Парнишка подрабатывал летом в рыбацкой артели.

— Ну мы быстро, — не унималась Майка.

Валерка усмехнулся и, жалея смешную девчушку-сироту, согласился.

Она сидела на раме велосипеда, стопка книг аккуратно привязана к багажнику. Восходящее солнце нещадно палило, и ветер с моря приносил лишь лёгкую прохладу. Велосипед тяжело поднимался в гору по узкой каменистой тропе.

Авария случилась в секунду: лопнуло колесо, руль повело в сторону, и... Валерка с Майей кубарем покатились вниз, ударяясь о камни.

Разбитые локти, коленки. Увидев кровь на лице парня, она от испуга заплакала.

— Не реви, — Валерка ощупывал ноги девочки, — до свадьбы заживёт, — и подмигнул, улыбаясь. Разорвал свою рубашку, перевязал раны и нёс пострадавшую Майку на руках, прихватив ещё связку книг, с которыми она никак не хотела расставаться. «Ну куда от тебя денешься?» —

больше для вида поворчал Валерка и, как всегда, улыбнулся. Эта привычка улыбаться, глядя на Майку, как ключиком открывала дверь в её счастье. Обхватив тонкими ручонками сильную шею паренька, девочка смотрела на выгоревшие ресницы, лёгкие веснушки и, встречаясь с Валерой взглядом, неожиданно краснела.

Солёными струйками по его лицу, шее бежал пот, смешанный с кровью, что подтекала из раны на голове и плече, и Майе хотелось нежно и осторожно промокнуть эти розовые подтёки. Горячее солнце жгло, ослепляло, хотелось пить, но ни одним взглядом или словом упрёка Валерка не показал и не высказал усталость. В сильных руках парня было надёжно. Трепетно стучало сердечко, сбивая дыхание, и неизведанные чувства захватили её.

— Принимайте, довезти не смог, но домой донёс, — ставя девочку на крыльцо, Валерка, волнуясь, сдал раненую внучку бабушке, — готов понести наказание.

И склонил голову, как будто для удара.

Ушибы, ссадины да лёгкое растяжение — отделались легко. Но это была их последняя поездка и первые зародившиеся искорки любви в юном сердце девушки. Вечером Валерка принёс ей гостинцы. Присел на кровать рядом, а у Майки дух перехватило. И она поняла, что влюбилась. Дышать рядом с ним не могла.

Валерка вырос, возмужал, в армию собирался. Загорелый, как уголёк, с взъерошенным чубом, волновал настолько, что начинало першить в горле.

Свои тайны Майя доверяла дневнику. И надо же было такому случиться, что как-то уснула на веранде, оставив недописанную страницу открытой, а бабушка нечаянно прочитала.

— А ну вставай, — размахнулась тонким прутом, — я тебе покажу любовь. Я тебе покажу скалы. Ишь, негодница, решила меня осиротить! Да что же я Там твоим родителям скажу? Не уберегла? — и долго ещё причитала, гоняясь по двору за изворачивающейся от ударов внучкой.

А затем с тем же прутом побежала в Валеркин двор.

— Ах ты ж поганец, я тебе самое дорогое доверила, а ты её угробить надумал! — и серьёзно замахивалась и на него.

Вечером Майка, чувствуя себя виноватой, незаметно пробралась к Валерке во двор.

— Расскажи, что читаешь, — несмело пролепетала, не глядя ему в глаза.

— Некогда, Майка, сейчас читать. Я тебе книгу хорошую подарю, а когда вернусь из армии — ты мне расскажешь. Договорились? — Он положил руку ей на плечо, и Майка чуть не заплакала от счастья.

— Я тебя буду ждать, — она преданно на него посмотрела.

— Обязательно, — Валерка потрепал её по волосам, — вернусь, может, и женюсь на тебе. Ты девчонка отчаянная, мне такие нравятся.

И весело засмеялся.

— Валер, — Майка сдвинула брови и, волнуясь, попросила: — Давай ещё попробуем прыгнуть. Может, получится? Один разочек.

И они вновь стояли на высокой скале. Сверкающая лазурная вода под ними отражала всю яркость закатного неба, и лишь лёгкая рябь с кудряшками пены хмурила её поверхность.

— Не бойся, — Валерка ловко нырнул и, улыбаясь, манил её руками из воды, — загадай желание и прыгай, и оно обязательно исполнится. Ты будешь самой счастливой, самой красивой. Майка, прыгай!

Но страх подкашивал ноги, и девочка отступила назад...

Стемнело. Они плавали в серебряных блёстках по дорожке от полной луны и чувствовали себя частичкой первозданной природы.

— Послушай, — тихо говорил Валерка, — слышишь, море поёт и рассказывает нам свои тайны. Оно загадочно покорное сегодня.

И они, слушая шептание сонных волн, испытывали удивительное родство душ.

— Когда тебе будет плохо, найди эту звезду, — Валера показал на яркую Вегу в созвездии Лиры, — вспомни обо мне, и я обязательно приду к тебе на помощь.

Майя кивнула. Не хотелось нарушать словами божественный покой природы и чувств.

Она подумала, что Валерка для неё и так, как та звезда на небе, зажёг тёплый несмелый свет в душе. Ей казалось, что он всегда будет рядом, а как же могло быть иначе, если они мыслили и ведали одинаково. Стали близкими, как брат и сестра. Зарождающаяся любовь, как искра, как удар током, ещё не созрела, но он стал для неё уже самым родным и желанным.

Поутру небо затянули грозные тучи, море злилось, играя беспощадным штормом. Огромные высокие волны с мощной силой бились о скалы, словно пытались выразить весь свой гнев.

Валерка принёс Майе книгу «Бегущая по волнам».

— Это на память, читай. Приеду — расскажешь. Поняла, моя маленькая Дэзи? — и, улыбаясь, погрозил пальцем готовой разрыдаться девочке.

Парня забирали в армию на долгих три года в морфлот. Проводы она, глотая горькие слёзы, подсматривала. Испугалась, когда Валеркина одноклассница поцеловала его, обещая ждать, но он ответил, что его невеста — безбрежное Чёрное море и не стоит ей тратить молодые годы на ожидание. Девушка, смутившись, убежала, а Майка обрадовалась... и тут же себе нарисовала счастье на всю дальнейшую жизнь. А зимой у Майи умерла бабушка, и девочку определили в детский дом.

2.

Как же так могло случиться, что долгая удивительная дружба двух родственных сердец оборвалась с простыми переездами по стране? Ведь была же почта, были справочные. Мы не знаем, что чувствовал Валера и как сложилась его жизнь, но эту худенькую бесстрашную девочку

с пытливым умом и добрым сердцем он часто называл сестрёнкой.

Почему Майя не написала? Кто теперь ответит? Но любой приходящий в её жизнь человек не был так близок душой, как Валера, и ни один не покорил её сердце. Она никогда не забывала свою первую дружбу и любовь с романтиком моря, которого называла в мыслях, прочитав подаренную книгу, не иначе как Томас Гарвей.

В детском доме Майя сникла, закрылась, как будто замёрзла. Взахлёб читала книги писателей-маринистов, если находила их в библиотеке.

«Сколько бы ни смотреть на море — оно никогда не надоест. Оно всегда разное, новое, невиданное. Оно меняется на глазах каждый час. То оно тихое, светло-голубое, в нескольких местах покрытое почти белыми дорожками штиля. То оно ярко-синее, пламенное, сверкающее. То оно играет барашками. То под свежим ветром становится вдруг тёмно-индиговым, шерстяным, точно его гладят против ворса. То налетает буря, и оно грозно преображается. Штормовой ветер гонит крупную зыбь. По грифельному небу летают с криками чайки...»* — Майя в который раз перечитывала роман Валентина Катаева... Для неё море было, как и для Пети, — свободой. Смелый и гордый Гаврик, с волевым характером и отчаянной доблестью, представлялся Валеркой, и она, читая, переживала вместе с героями романа радость жизни и взросление в тяжёлые времена революций и войн. Задыхаясь в стенах чужого холодного дома, согревалась описанием родного моря, что несла каждая страница произведения.

Майя зачитывалась рассказами К. М. Станюковича и вспоминала, как смешно Валерка пересказывал про Максимку: «Арапчонок занятный, вроде облизьяны, братцы»; она не раз путешествовала по Тихому океану на фрегате «Паллада» вместе с персонажами И. А. Гончарова**... И сни-

* В. П. Катаев. «Волны Чёрного моря».

** И. А. Гончаров. «Фрегат «Паллада»».

лись ей ночами море, чайки, высокие скалы и он — стройный, высокий, загорелый... А ещё бабушка, что каждое утро поднимала соседей громким ударом в рынду.

Вначале Майя часто плакала, прячась ото всех, а потом смирилась, но душой не оттаяла.

Появились друзья, но никогда она не ходила с ними купаться в грязной речке-переплюйке. А моря рядом не было...

После детского дома, получив профессию ткачихи, осталась работать на фабрике.

Стройная, чернявая, немногословная, Майя нравилась мужчинам. Зачем согласилась выйти замуж за инженера Петра — не поняла и сама. Чем-то напомнил Валеру. Но только внешне, как оказалось потом.

Был много старше, серьёзный, надёжный. Но Майе с ним было скучно. Муж был слишком правильный, практичный и никогда бы не стал прыгать в воду с отвесной высокой скалы, нависшей над морем в пугающем одиночестве.

— Не вижу смысла рисковать, — пожал плечами в ответ на её вопрос и снова уткнулся в газету «Правда»...

— Покажи мне на небе звезду Вега в созвездии Лиры, — подняла голову и посмотрела на звёзды.

— Ты лучше под ноги смотри, — муж заботливо поддержал её за локоть...

— Ну улыбнись, — пыталась дурачиться Майя.

— Чему и зачем? — строгий взгляд из-под очков, и... в памяти оживала тёплая улыбка веснушчатого лица с выгоревшими ресницами и со струйками пота с кровью. Сердцу становилось тесно в груди, она, задыхаясь, тяжело молчала, помимо своей воли возвращаясь к полудетским воспоминаниям.

Майя не застряла в прошлых фантазиях и мечтах, не приняв счастье в настоящем. Ей просто нечего было принимать.

Строили дом, растили детей и никогда никуда не ездили. Только, бывало, в Москву за одеждой да колбасой. Заботы о детях, доме отодвинули мечты о море в самые дальние,

неприкосновенные уголки души, но они иногда болью выглядывали, и тогда строила отпускные планы на южном берегу Крыма, которым никак не удавалось сбыться.

Как подросли дети, стал болеть Пётр. Долго выхаживала его после инфаркта. Но не спасла.

Осталась одна с тремя дочками-невестами на руках. Всех замуж отдала, всем помогла детей поднять. И сейчас жила со старшей дочерью в своём доме, что строили вместе с Петром.

3.

Неизбежно и закономерно вдруг навалилась усталость. Вроде жизнь оставалась полноценной, осмысленной и даже насыщенной событиями, но всё чаще хотелось остаться в тишине. Иссякли силы для земных дел, исчерпали себя иллюзии, надежды. Не страшной, не жестокой и не противоречащей её сердечности и доброте казалась появившаяся с годами привычка спокойно расставаться с уходящими из жизни друзьями, соседями. Она научилась жить в постоянном присутствии болезни и смерти, умом понимая, что впереди уже осталось чуть-чуть. Всё живое и суетное теряло свой смысл. Поддерживали молитвы и вера.

А ещё в душе жили воспоминания, которые ближе к старости стали почти навязчивыми. Майе даже нравилось спать, ведь в каждом сне она видела море. Лунную дорожку на воде, уходящую к ярким звёздам, Валерку и себя в цветном купальнике, который сшила ей бабушка из нового ситца, что хранила себе на платье. Она чувствовала на своих волосах её тёплые руки, заплетающие косы, и видела хитрую улыбку, с которой бабушка ударяла в корабельный колокол рано утром.

Мир её детства жил в ней нерушимо и грел тёплой памятью старое изношенное тело.

Но были и тайные мысли, из-за которых Майя смиренно принимала все скорби в жизни.

«Загадай желание и прыгай, и оно обязательно исполнится. Ты будешь самой счастливой, самой красивой. Майка,

прыгай!» — она вспоминала Валеркины слова и винила себя за страх и малодушие, как ей казалось. Поэтому, думала, и не стала она в жизни «Моя Дэзи» для соседского паренька — её Томаса Гарвея. Не испытала полного глубокого женского счастья...

Майя взяла с полки подаренную Валерой и состарившуюся вместе с ней книгу Александра Грина «Бегущая по волнам». Надела очки и стала перечитывать любимые места.

Дочка заглянула в комнату, покачала головой.

— Опять Грина читает, — тихо сказал мужу и вздохнула, — что её там так увлекает?

— Так ты сама рассказывала, что она на море выросла, — отозвался муж.

— Когда это было...

«Рано или поздно, под старость или в расцвете лет, Несбывшееся зовёт нас, и мы оглядываемся, стараясь понять, откуда прилетел зов. Тогда, очнувшись среди своего мира, тягостно спохватываясь и дорожа каждым днём, всматриваемся мы в жизнь, всем существом стараясь разглядеть, не начинает ли сбываться Несбывшееся?» — читала Майя, и дремавшее прошлое просыпалось, окутывало нежным покрывалом действительность, ласковым, мягко обволакивающим. Как будто качаясь на облаках, она вспоминала с радостью и надеждой, теплом и нежностью всё до того горького момента, когда её привезли в детский дом. И вся её жизнь после — это была потаённая любовь, которая, загоревшись маленькой искоркой, вспыхнула с разлукой и блистала несбывшимся светом в её душе и сердце.

Совсем неожиданным стало появление во снах любимого друга детства. Нечаянно пришло осознание, что его в этой жизни больше нет. Он не забывал её и пришёл за ней, так решила Майя...

Вспоминая, не заметила, как растворилась во сне, обретя лёгкость в душе и теле.

Дочка, зайдя перед сном, заботливо укрыла одеялом спящую мать, поцеловала, перекрестила, аккуратно закрыла книгу и убрала на полку...

* * *

Она опять стояла на высокой скале, и ветер приятно освежал разогретое южным солнцем тело. Море тихим движением лёгкой ряби манило и успокаивало безмятежностью и величием. Майя доверчиво рассказывала ему о своей жизни, и оно, знакомым с детства шумом, отвечало. Над водой увидела Валерку. Он, опалённый солнцем, с выгоревшим чубом, молодой и стройный, улыбаясь, махал ей руками и весело звал: «Ну, Майка, прыгай, не бойся. Загадай желание...» Она, закрыв глаза, вытянулась, привстав на носочки, и... полетела вниз в свободном волшебном полёте, отвечая радостным смехом на лучезарный Валеркин взгляд. Вода встретила её лёгким толчком и обняла прохладой упоительного блаженства... Она смогла, преодолела — и поверила, что будет счастлива...

Утром дочка заглянула к ней в комнату и застыла на пороге.

— Отмучилась. — Она с изумлением смотрела на восковое лицо матери, светившееся неизведанным ранее тайным внутренним ликованием, умиротворённое и согретое счастливой полудетской улыбкой, которую никто и никогда не видел у неё при жизни...

23.01.2019

Иаков Липянский

г. Рига, Латвия

ГЕРОЙ РУСИ

Поэма

Герой Руси — Иван Сусанин,
Жизнь положивший за царя, —
Из Домнина седой крестьянин,
Старик с душой богатыря.

Служил Землице Русской свято,
Трудился в поле до зари.
Читал, как дед его когда-то,
Пред сном и утром псалтыри.

* * *

В Отечестве уж так сложилось —
За сыновей и дочерей
Святая Русь всегда молилась.
А дети — о стране своей.

Отчизну-матушку любили,
Верны ей были в трудный час.
Врагов Землицы Русской били —
Нерукотворный с ними Спас.

* * *

Под Костромою было это.
Лишь смолкла смута на Руси,
Прогнали польских интервентов.
Однако подлый план сии

Задумали перед побегом:
Убить юнца, что на престол
Был избран. Только оберегом
Храним был Рюрика Сокол.

Романов Михаил, в нём корни
Святого русского царя,
Он в Костроме молитвой горней
За Русь просил у алтаря.

* * *

...Когда был назван государем
Земским собором Михаил,
Сарматы, не теряя даром
Ни времени, ни своих сил,

Отряд отборный снарядили,
Его отправив в Кострому.
Но в тех местах лишь заблудились,
Дороги потеряв тесьму.

Нашли Сусанина Ивана,
Он с зятем брёл в своё село.
«Веди к царю!» — лес стал капканом
За совершённое их зло.

* * *

Сусанин жил как все крестьяне —
Был старостою на селе.
Крепка уж с ранних лет в Иване
Любовь к своей родной земле.

Склоняли русича к измене,
Чтоб путь к царю им указал...
И, пав пред Богом на колени,
Своё Иван согласье дал.

Но прежде чем повёл лесами,
Сусанин упредил царя.
Успел укрыться тот во храме —
В обителях монастыря.

* * *
Поляков в чащу ввёл — в болота —
Чтоб выбраться уж не смогли...
Знал, как опасна та «охота»,
Дед — патриот родной земли.

Шли по заснеженной тропинке.
В мороз был слышен снега хруст.
Златого солнца в млечной дымке
Лучи лились с небесных уст.

Торжественно стояли ели.
Пушисты лапы их ветвей —
Землицу шубкою одели,
Чтоб стало матушке теплей.

Очаровательна природа
Зимою в костромских лесах.
Она и в лютый месяц года
Душою — девичья краса.

Под снегом нет дорог, проталин
В лесах у града Костромы.
Прекрасны, белоснежны дали
Волшебной матушки-зимы.

* * *
Сулили деду очень много —
Имели в том и свой барыш.
«Не приведёшь, так до острога
Тебе дорога, старый, слышь?»

Он шёл перед сарматом лживым,
Вонзая посох в глыбкий снег —
И будут царь с семьёю живы,
И сгинут их враги навек.

Уйдя далёко от деревни,
В сомненьях нервничал отряд —
Вдруг путь, которым шли, неверный?
«Стой!» — крикнул главный из сармат.

Тонули по колено ноги —
«Ну, сколько нам ещё идти?
Ответь сейчас же нам, убогий,
Ты сбился с верного пути?»

На это дед ответил просто:
«Вам нет теперь пути назад
До деревенского погоста...»
Не выдержав того, сармат

Ударил старца острой саблей
В плечо наотмашь со спины.
Сочилась кровь, то были капли
Страданий древней Костромы.

«Куда привёл ты нас, проклятый,
В какую глушь, уже темно...» —
Давили на него сарматы,
Но старцу было всё равно:

Завёл врагов не зря в болото —
Оттуда нет пути назад,
Чтоб не было другим охоты
На Русь идти, как тот сармат.

«Мы сей же час тебя зарубим», —
«Рубите, воля коль на то...»
Сармат ударил деда в зубы.
Дед сплюнул. Снежное плато

Окрасилось в багрянец алый —
Цвет, что у русов на щитах.

Под Костромой сарматов малый
Отряд пропал в лесных краях.

«Что ж, милости прошу к нам в гости.
Вы, что искали, то нашли».
Сарматы бросились со злости...
В душе его уж журавли,

Ему казалось, звали звонко,
Пронзая мысли в тишине,
Когда стекала струйкой тонкой
Кровь по лицу и по спине.

Претерпевая стойко муки
И раздирающую боль,
Молясь, скрестил Сусанин руки:
«Воззри, Бог, на мою юдоль».

«Он насмехается над нами...
Поворoти назад, старик!» —
Не слышал их — в небесном храме
Светился мученика лик.

Не слышал жутких поруганий,
В душе сливаясь с тишиной.
Умучен был Иван Сусанин
Во имя Родины святой.

Убив Сусанина Ивана,
И сами сгинули в глуши.
Он, сокрушив поляков планы,
Не дал попрать своей души.

В Руси найдя себе могилу,
Враги смогли одно понять:
В мученьях обретая силу,
Не сдаст ни Родину, ни мать,

Ни друга, ни царя, ни брата,
Ни сыновей, ни дочерей —
Губительна Русь для сармата,
Ведь русич на земле своей.

* * *

В лучах — разбросанные блёстки —
Искрился снег к исходу дня.
Невесты — русские берёзки,
На ветках льдинками звеня,

Колышась, роздали поклоны...
Рисуя скорбный хоровод,
На кронах каркали вороны.
Темнел над лесом небосвод.

Луч солнца закрывали тучи,
Предвидя впереди беду.
Иван Сусанин был умучен;
Враг предан Божию Суду.

* * *

Кто ведает о днях тех давних? —
Русь-матушка да местный люд,
Дом милый, где с узором ставни,
Где создан стариком уют.

* * *

Князь Коловрат, Иван Сусанин...
Склоняюсь ниц к могилам их.
Здесь, на Руси, князь и крестьянин
В одном строю среди святых.

* * *

Град сказочных часовен, храмов,
России светоч — Кострома.
На древнерусских панорамах —
Льняных полотнах — бахрома.

Святая Русь, звони набатом,
Молись о всех, кто честно жил:
Иван Сусанин здесь когда-то
За государя жизнь сложил.

ПОДЕЛЮСЬ С ТОБОЙ СКАЗКОЙ

Ты просишь рассказать тебе добрую сказку, малыш. О, их великое множество я знаю, всех и не перечесть, и не пересказать. А послушай-ка ты вот эту, мою любимую. В ней переплелись мечта, и праздник, и вымысел, и правда. Я придумал её специально для тебя, но не для того, чтобы ты сказку послушал и хранил её в секрете, а чтобы делился ею с дорогими тебе людьми. Вот как я с тобою сейчас делюсь.

С наступлением зимы, первых её холодов и в особенности первого выпавшего снега, меня охватывают радостные чувства о скорой встрече с родным сердцу моему и любимым Дедушкой Морозом Ивановичем — светлым, добрым, чутким, отзывчивым старцем. Думая о нём, я непременно думаю и о приближении одного из самых ярких и радостных праздников в году — Нового года. Белоснежное покрывало земли, неповторимые затейливые кружева снежинок вызывают во мне чистое чувство радости, затмевая собой все тёмные пятна жизни моей. Ожидание и предчувствие чуда — как светлый солнечный лучик, заглянувший в окно ранним утром после череды ненастных дней. Эти ощущения — будто мамина нежная, любящая рука — касаются моего сердца и своим теплом придают силы для наступающего дня.

Новый год — это и ёлочка с пушистыми дугообразными ветвями, кончиками уходящими вверх, щедро одаривающая свежим ароматным запахом хвои. На её лапах расположились воздушные комочки ваты, похожие на выпавший снег.

А на улице искрящийся, хрустящий на морозце снег под ногами так и играет радужными красками своими, создавая

хорошее настроение. Нависшие огромные сосульки и снежные сугробы на крышах домов замерли в ожидании прихода Нового года. Зима нарядила каждое деревце в лесу, каждый кустик, да и всю землю — сколько хватает глаз — в белоснежную шубку. Словом, всё готово к празднику, к радостной встрече со сказкой.

Ожидания мои никогда не подводили меня, и ждал я не дорогих подарков, зная, что не это главное. Ждал света несказанных улыбок, ловил искорки счастья и радости, которые исходили из глаз их. И скажу тебе по секрету, именно эта искренняя атмосфера любви и добра сопровождала и сопровождает меня на протяжении всей моей жизни, особенно в канун Нового года. Мне, как тогда, так и сейчас не хочется расставаться с Дедушкой Морозом Ивановичем и со Снегурочкой, красавицей ёлочкой, а желается знать и верить в то, что родители мои дорогие рядом со мной. И эти чувства я пронесу до конца.

...Много за всю жизнь мою сказок и былин было прочитано, много песен старорусских спето; много сказаний и былей рассказал я детям своим про Дедушку Мороза Ивановича со Снегурочкой. Теперь вот тебе рассказываю.

Мужественные богатыри, мудрые седовласые старцы земли русской, калики перехожие с котомками, перекинутыми через плечо, — былинные воины, охранявшие границы Древней Руси от внешнего врага, вобрали в себя черты многих славных русичей и... любимый нами образ Дедушки Мороза Ивановича. Былинные старцы были наставниками воевод и дружинников и сами ходили с ними в военные походы. За поясом каждый богатырь, воевода и дружинник носил тяжёлый меч-кладенец, а в руке держал палицу, которую обыкновенному человеку не то что поднять, а и с места сдвинуть было невозможно. Однако управлялись они мечом и палицей, как и полагается богатырям, умело. Говорилось в сказаниях и о нелёгкой победе правды над кривдой.

Кто же, кроме Господа, помогал русским воинам издревле? А я тебе скажу — Дедушка Мороз. Не смейся, а послушай лучше мои догадки.

Морозы на Руси суровые, очищающие души и животворящие — сокрушительной силы морозы.

Дедушка Мороз Иванович — владыка зимы — сыграл огромную роль в делах победы русичей над врагами-инородцами, приходившими на родину нашу, чтобы разорить и поработить нас. А богатствами обширными завладеть они хотели для своей наживы, а не для пользы народной. Не только богатыри-воины сокрушали непрошеных гостей, но и лютые трескучие морозы вселяли во врагов наших страх, ибо холода не позволяли им продвигаться вперёд, замораживая и превращая войско и оружие в ледяную статую или ледяную глыбу. Изможденные и обмороженные, многие из них погибали, а другие, дабы не погибнуть, сдавались в плен.

Добры молодцы, они же и воины-богатыри, были землепашцами от рождения. А когда ворог, гость непрошеный, нападал на родимую сторонку нашу, то они до последней капли крови, не жалея живота своего, защищали Русь и народ свой. Помогал им всегда Господь и Дедушка Мороз Иванович.

Теперь мы живём в мире. И лишь в канун Рождества и Нового года обходят Дедушка Мороз и Снегурочка владения свои, заглянут в каждый город или село, в каждый дом, дабы оживить окаменевшие от проблем и забот сердца людей, посохом живительным прикасаются они к нам, дабы почувствовали мы себя детьми — радостными и счастливыми. Будят они нас для справедливой и доброй жизни, для искренней и непреходящей любви друг к другу.

Понял теперь, дружок, почему на земле нашей так любят Дедушку Мороза?

Геннадий Лысенко

г. Днепропетровск, Украина

БАЛЛАДА О ТОПОЛЕ

У самой рощи на краю села,
Где шли бои жестокие когда-то,
Цветами вновь живыми зацвела
Могола неизвестного солдата.

Высокий тополь листьями шумит,
На холм могильный рос роняя слёзы.
Здесь тополиный крест был кем-то вбит
За неименьем под рукой берёзы.

Земля, весной оттаяв на вершок,
Дала кресту живительную силу.
И ожил он, пустив свой корешок
В солдата неизвестного могилу.

И первый лист, прорвав оковы-почки,
Навстречу к жизни, к солнцу потянулся.
Пусть был он слаб, неклейкий и несочный,
Пускай от ветра трепетал и гнулся.

За ним второй и третий появился...
И, утверждая жизнь в побегах слабых,
Тот тополь снова к жизни возвратился,
Чтоб утвердить собой солдата славу...

Дивились люди этой жизни силе
И, видимо, уж вовсе неспроста,
Любовью ту могилу оградили
И сняли перекладину с креста.

К могиле как-то женщина пришла
(Она сюда нередко приходила).

В порядок холм могильный привела,
Куст нежных роз в молчании посадила.

Здесь и другие женщины бывали.
И помнит тополь явственно поныне,
Как на могиле женщины рыдали
О неизвестно где погибшем сыне.

И с каждым годом тополь креп и рос,
Шумя упрямо молодой листвою,
Среди гвоздик, тюльпанов, маков, роз,
Посаженных заботливой рукою.

Лишь главный ствол, как инвалид войны,
Немного в росте от ветвей отставши,
Напоминает нам, что мы должны,
Живые люди, вечно помнить павших.

И он стоит как памятник живой —
Из мёртвых сам воскресший в тяжкой муке,
С обрубленной вершиной-головой,
Поднявши вверх упрямо ветви-руки.

ВОСХОД СОЛНЦА НА АЙ-ПЕТРИ

Ночь на исходе.
Вдали рассвет прорубил оконце.
Мы на Ай-Петри пришли,
Чтобы первыми встретить солнце.

Вершины покинули тучи,
Над ними лишь неба зонт.
Стоим над безмолвной кручей
И смотрим на горизонт.

Природа — могучая жрица —
Последний вершит ритуал.
Восток озарился зарницей,
По небу рассвет побежал!

Замерло всё в ожиданье.
И только лишь сердца стук
Один нарушает молчанье
Момента свершенья.
И вдруг

Вырвавшийся из моря
Луч ослепил глаза.
Солнце встаёт!
Не споря, ночь отступает назад.

И кажется в это мгновенье:
С солнца вода стекает,
Словно в момент омовенья.

А волны от света — дюны.
В них песня морская звучит.
Им вторят, как звонкие струны,
Солнца прямые лучи.

Солнцу кричим мы с гор:
«Здравствуй! Ты снова с нами!»
Где-то внизу под ногами
В зелени тонет Мисхор...

А сердце взволнованно бьётся!
И мне его не унять.
Я связь между жизнью и солнцем
Сегодня успел понять!

ДРУГУ И СОБАКЕ

Когда собака друг — живи спокойно!
Но если друг собака, берегись!
В любой момент поступком недостойным
Он может влезть в твою, товарищ, жизнь.

Там, где не ищешь подлости причину,
Когда ему доверишься во всём,
Он вдруг из-под полы ножом ударит в спину,
И упадёшь, сражённый тем ножом.

А он, взглянув на дело своих рук,
Уйдёт, укрывшись полуночным мраком.
Как хорошо, когда собака друг!
Как больно, если друг окажется собакой!

ИГОРЮ СЕЛЕМЕНТЬЕВУ

Ночь. Луна.
Соловьиные трели.
В тёмном небе
сияние звёзд.
Над палатками
старые ели
Молча плачут
смолою слёз.
Улетают, сверкая,
искры
Мотыльками
в ночную тьму.
Еле слышно
поёт транзистор.
А о чём?
Никак не пойму!
Пусть огонь
пожирает пищу,

Превращая в пепел
дрова.
Пусть в кустах
соловейка свищет.
Пусть дурманом
пахнет трава...
Я с дровами дотла
не выгорю,
Хоть в природе
бушует май.
Кто-то вдруг обратился к Игорю:
«Ты нам что-нибудь почитай!»
Игорь, тело на землю бросив
И уставившись в небо
взглядом,
Явно слыша,
о чём его просят,
Был от нас далеко
и рядом.
В ожидании
все молчали.
И затих соловей
в кустах.
Догорая, лишь сучья
трещали.
Вдруг он тихо сказал:
«О женщинах!»

«Вы помните,
Вы всё, конечно, помните... —
Сергей Есенин грустно зазвучал. —
Взволнованно ходили вы
по комнате...»
Читал он нам.
Читал и не кончал.
Мы молча слушали,
забыв обо всём на свете.

Костёр, забытый нами,
догорал.
А он, даря чужие
строки эти,
Нам до утра о женщинах
читал.
О женщинах,
что не умели ждать!
О женщинах,
разлуку победивших!
О женщинах,
умевших всё прощать!
О женщинах,
ни разу не простивших!

К нам в лес пришли:
Евгений Евтушенко,
Рождественский,
Есенин,
Пушкин,
Блок
И Симонов.
И сам Тарас Шевченко
К нам в эту ночь пришёл на огонёк.
Кого в тот вечер лес не услыхал!
Всех перечислить
мыслимо едва ли!
Короче, кто о женщинах
писал —
Все у костра сегодня
побывали.
И вот он кончил.
Все вокруг молчали...
И в тот момент
не надо было слов.
Мы ничего вокруг не замечали.
Мы все ещё невольно пребывали
Во власти им прочитанных стихов!

С ОТЧИЗНОЙ НАВСЕГДА

Бой отдыхал. Звенела тишина.
И в ней солдату явственно казалось,
Что на земле закончилась война.
Но до победы ночь ещё осталась.

Лежал боец в прохладной тишине
И мыслями давно уже был дома.
Как это чувство хорошо знакомо
Всем, кто ходил в атаки на войне!

Он до сих пор неуязвимым был,
Хоть смерть друзей безжалостно косила.
И чем от дома дальше уходил,
Тем ближе сердцем был к тебе, Россия.

Россия. Родина. Отцовская изба.
Знать, потому с волненьем сердце бьётся,
Что навсегда с Отчизной остаётся,
Куда бы нас ни занесла судьба.

Он вглядывался в небо не дыша,
До слёз в глазах, подолгу не моргая.
Вот падает звезда, дотла сгорая,
В народе говорят: «То умерла душа!»

И думал он: «А вдруг бы всё сбылось —
Поверье стало правдой на мгновенье,
То небо в тот же миг лишилось звёзд
И наступило б звёздное затменье.

Как нам черту под горем подвести?
Всех сосчитать — убитых и казнённых?
К ним справедливо надо отнести
Детей, за эти годы не рождённых...»

Лежал солдат и вспоминал друзей,
Тех, что война из жизни унесла.

А доживёт ли он до мирных дней?
Дойдёт ли до родимого села?

Он думал: «Всё, возможно, обойдётся.
Судьба коварна. Чья ещё возьмёт?»
И вдруг команда гулко раздаётся:
«К атаке приготовиться... Вперёд!»

И, тишину ночную разрывая,
Крича «ура», за пулями вослед,
Шёл на врага солдат восьмого мая
В свои ещё не полных двадцать лет.

И вдруг удар... От боли пошатнулся,
В глазах круги: «Ах, как далёк рассвет!»
С трудом к груди рукою прикоснулся
И прошептал: «Назад дороги нет».

Он рухнул навзничь. Бой ушёл на запад...
Лежал солдат без памяти, без сил.
И, ощутив родной, знакомый запах,
Тяжёлые ресницы приоткрыл.

В ночи неясно проступали тени.
И удивился он в полубреду:
Над головой склонился куст сирени,
Совсем как в детстве, как в родном саду.

И так же в лунном небе тёмно-синем
Мерцал, зовя в дорогу, Млечный Путь.
На первый взгляд такой же, как в России.
Но всё-таки опять не тот чуть-чуть.

И появилось страстное желанье,
Чтобы среди сиреневых ветвей
В последний раз, как Родины прощанье,
Ему исполнил песню соловей.

Ах, как хотел солдат его послушать!
Но всё ослабевал бескровный пульс...
Прочёркивали небо звёзды-души
Пунктирами трассирующих пуль.

Об авторе: *Геннадий Васильевич Лысенко, стихи которого вы только что прочитали,—мой родной дядя. Он младший брат мамы—Козловой (в девичестве Лысенко) Лидии Васильевны. Слава Господу, мамочке сейчас 86 лет, а вот дядя умер, когда ему было всего 43 года!*

Родился Геннадий в 1938 году в Новгородской области, где его отец, а мой дед, Василий Максимович Лысенко, служил военным метеорологом. Известие о вторжении гитлеровцев на территорию Советского Союза застало семью в деревне Крестцы Новгородской области: там дед находился в летних лагерях на военном аэродроме.

Деда сразу же отправили на фронт, а у бабушки Ефросиньи Кирилловны с двумя маленькими детьми начался трудный период эвакуации. Сначала на Волгу под Ульяновск, потом, когда была освобождена Брянщина, в деревню Клетню, а позже в Медвежьи Озёра Московской области. Дед на фронте нашёл боевую подругу, поэтому бабушка одна воспитывала и поднимала детей и по окончании войны.

Дядя начал писать стихи ещё в школе: сначала в Медвежьих Озёрах, а потом, когда переехали на Украину,—в Днепропетровске. Там жила бабушкина сестра Екатерина, которая, пережив блокаду Ленинграда, перебралась в УССР вместе со своим сыном. В Днепропетровске Геннадий учился в одной школе с Родионом Нахапетовым и даже играл с ним в одной волейбольной команде.

Свободное время, как и многие ребята той поры, проводил за чтением. Любимым поэтом Геннадия был Сергей Есенин, стихи которого он знал наизусть и часто читал вслух. (К слову, позже, когда у него была собака, её звали Джим, как и пса из стихотворения Есенина «Собаке Качалова».)

После школы дядя поступал в Днепропетровский университет на филологический факультет, но не прошёл по конкурсу. Устроился работать на знаменитый в то время на всю

страну завод Южного машиностроения, оттуда и ушёл служить в армию. Писал письма родным, что служит в Казахстане, как красиво там, в степях, когда цветут маки,—всё покрыто алым ковром. Только спустя 10 лет (закончился срок действия подписки о неразглашении государственной тайны) мы узнали, что он служил на Байконуре заправщиком ракет. Был свидетелем запуска в космос Белки и Стрелки, общался с Сергеем Павловичем Королёвым.

Вернувшись домой после службы в армии, дядя поступил на вечерний факультет Днепропетровского химико-технологического института и успешно его окончил. Продолжая работать на Южмаше электрохимиком, Геннадий был членом литературного объединения при заводской газете, на страницах которой часто публиковались его стихи. Они были посвящены Родине, войне, любви, природе. С каждым годом творчество Геннадия Лысенко становилось более ярким, интересным, самобытным, но оно оборвалось в 1981 году, когда дядя ушёл из жизни, проиграв битву с онкологией.

Память об этом светлом и талантливом человеке жива, он продолжает жить в сыне Дмитрии, дочери Марине, а теперь уже и во внуке Никите, которого Геннадий Лысенко не дождался, но волею судьбы родился этот мальчик в один день с дедушкой—10 июля! Кто знает, может, и он станет писать стихи...

Наталия Гусева

Милена Миллинткевич

г. Краснодар

СТАРЫЙ СКРИПАЧ

(основано на реальных событиях)

Третий день город поливало дождем. Сентябрьское небо надолго заволокло свинцовыми тучами. Где-то совсем близко грохотало и сверкало. По центральной улице, прижимая к себе драгоценную ношу, шёл старик. Сгорбившись, словно от ударов плетьми, он тяжело переставлял ноги. Беспощадными струями вода стекала по плащу. Ветер трепал мокрые седые волосы, пробирался под полы старомодного плаща, подгонял, норовя уронить. Старик крепко прижимал к себе потёртый футляр, в котором было его единственное сокровище — скрипка. Он брёл по улице, опустив голову, и плакал. Капли дождя, гонимые ветром, ударяли в лицо, и редкие прохожие не замечали этих слёз. А они были. Горькие. Безутешные. Слёзы обиды. Слёзы безнадёжности.

Старик возвращался из ломбарда. Он хотел сдать скрипку своей бабушки, доставшуюся ей от её деда в наследство. Как говорили, изготовлена она была итальянскими мастерами, хранителями секретов Гварнери. Так это было или нет, но внутри инструмента имелась табличка с надписью на итальянском.

Старику очень нужны были деньги. Вчера принесли пенсию, а когда вечером он собрался в магазин за продуктами, не нашёл кошелька. Всё обыскал, везде посмотрел, ящики открыл, в карманы залез — нет нигде. А месяц жить как-то надо. До утра проплакал старик о своей пропаже. И куда задевал, старая голова? А наутро понёс бабушкино наследство в ломбард.

— Полторы тыщи дам, — разглядывая инструмент и не поднимая головы, произнёс кареглазый парень с непривычными для мужчины тонкими чертами лица.

— Долла́ров или евров? — поинтересовался старик.

— Каких долларов, дед? Каких евро? Рублей. — Парень поднял на старика глаза и презрительно хмыкнул. — Скрипка у тебя с царапинами. Старьё, одним словом.

— То-то и оно. Ей цены нет. — Старик было хотел рассказать парню историю инструмента, но нагловатый юнец грубо его перебил:

— Для тебя, дед, она, может, и бесценная, а для меня рухлядь. Хлам. Две тыщи максимум.

Глаза парня блестели. Воображение уже в ярких красках рисовало выгодную сделку.

— Нет! — вырвал инструмент из рук зарвавшегося наглеца старик. — За такую цену не отдам.

— Ну, как знаешь, дед. — Недовольно фыркнув, парень отошёл к кассе, нарочито изображая отсутствие интереса к посетителю, но искоса поглядывая на старика — вдруг передумает.

Но тот лишь бережно уложил скрипку в футляр и побрёл к выходу.

Мысленно пересчитав барыши сорвавшейся сделки, парень прокричал вслед:

— В следующий раз придёшь — больше тыщи не дам.

— Не приду, — пробурчал себе под нос старик и, кутаясь в плащ, шагнул за дверь под плачущее осеннее небо.

Ушёл, не обернувшись, глотая горькую обиду. Да и что сказать этому наглому юнцу, привыкшему всё и вся измерять благами и деньгами? И, как бы ни нуждался старик в деньгах, отдать такую вещь за бесценок он не смог. Вот и брёл теперь пешком под дождём по унылой улице. Надо как-то добраться домой, только денег в кармане на батон хлеба и пакет молока.

Впереди показалась автобусная остановка. Людей-то, людей... Низенький, толстый очкарик в шляпе кутался в помятую куртку и прижимал к себе портфель. Высоченный бородатый мужик, одетый не по погоде в кожаные штаны и такую же жилетку, вертел в густо забитых татуировкой руках брошюру мастерской, что за углом. Видно, сдал свой Harley в ремонт и теперь вынужден пересесть на городской транспорт со всеми его неудобствами. И чего такси не взял?

Вон же машина, стоит, светит «петушком». Тощая старушка с короткой стрижкой и маленьким пекинесом на руках с укором поглядывала на рыжую молодую мамашу с ярко напомаженными губами, которая о чём-то тихо разговаривала с таким же рыжим, как она, мальчишкой лет восьми. Стайка девчушек-подростков в наушниках, два мужика-работяги да тётка-торговка с тележкой на колёсиках ютились на остановке, прячась от дождя и ветра. Протиснулся старик под крышу. Хотел было присесть, да хулиганы единственную лавочку поломали. А на той доске, что осталась, гордо восседала дама с собачкой.

— Дедушка, а что у вас там? — поинтересовался рыжий мальчик.

— Скрипка, — хрипло ответил старик.

— А вы играть на ней умеете?

— Немножко.

— А мне сыграете?

Мать дёрнула сына за руку.

— Ну чего ты пристал к дедушке?

А мальчишка, словно не слышал ничего вокруг, с интересом разглядывал деда и футляр. Старик посмотрел на мальчика, и лёгкая улыбка тронула сухие губы. Что он увидел в этих детских глазах? Себя ли в детские годы? Будущего скрипача в этом маленьком любопытном пареньке? Кто знает?

— Подержишь? — отрывая от груди сокровище, подмигнул мальчишке старик.

Тот кивнул и с готовностью подставил руки. Аккуратно, словно бесценный ларец, положил скрипач на руки мальчика потёртый кожаный футляр. Достав инструмент, ещё раз посмотрел на случайных зрителей. Все взоры были устремлены на него. Вздохнув, старик тронул струны смычком.

Никогда ещё до этого момента скрипка в его руках так не рыдала. Ни перед боем в окопе под Вязьмой в 43-м, ни под Варшавой, где уже после Победы их отряд гонялся по лесам за недобитыми группами фашистских солдат, не пожелавших сдаться. Даже на могиле, которую ему, вернувшемуся с фронта девятнадцатилетнему солдату, показали соседи. Вся семья — родители, малолетние братья и сёстры,

любимая бабушка — все вместе, как жили, так и полегли от разорвавшегося снаряда, попавшего в дом. Когда достал скрипку, соседи недоумевали. Зачем?

«Пусть лучше музыка льётся, чем слёзы», — ответил тогда.

Под осенним дождём скрипка плакала, стонала, всхлипывая, надрывно завывала в унисон с ветром, кричала и сокрушалась. Потом на мгновение замолкала и вновь принималась жалобно поскуливать и рыдать, то затихая, то обрушиваясь со стенаниями на своих невольных слушателей. И столько в этой музыке было боли, душевных переживаний, тоски, что зрители, волей судьбы ставшие свидетелями происходящего, застыли, не решаясь пошевелиться и прервать полный проникновенных чувств и эмоций концерт.

Из-за поворота показался автобус. Стоявший в углу верзила достал из кармана кожаных штанов тысячную купюру и, смахнув скупую слезу, сунул деньги скрипачу в карман плаща.

— Возьми, старый. Давно меня никто плакать не заставлял.

Мужчина с портфелем полез в карман и, выудив оттуда скомканную пятисотку, молча сунул деду в руки. Работяги, сопя и пряча глаза, полные слёз, опустили в футляр по новенькой пятисотрублёвке.

— Спасибо, отец. Хорошо играешь.

Остальные зрители тоже не смогли остаться в стороне. Они молча подходили к старику и кто пятьдесят, кто сто рублей опускали в футляр. Каждому было о чём вспомнить. Каждого музыка заставила о чём-то грустить, затронула самые глубокие потаённые уголки души. Глаза старика стали мокрыми от слёз. Он что-то хотел сказать, но молодая женщина, бережно взяв футляр из рук сына и положив на освободившуюся лавочку, дрожащим голосом произнесла:

— Такую музыку не всегда на концертах услышать можно. А тут на улице, под дождём... За душу взяло, дедушка, за живое задело.

Она положила деньги старику в руки и выскочила под дождь, увлекая за собой сынишку и стараясь поскорее заскочить на подножку автобуса.

— Дед, а тебе куда ехать-то? — из окошка такси, всё это время стоявшего у остановки, высунулся молодой парень.

— Да в Садовод мне, далеко. Я маршрутку подожду. Скоро уже, — утирая слёзы, пробормотал старик.

Парень вышел из машины и, пряча лицо от дождя и ветра в ворот пиджака, заскочил под крышу.

— Давай, дед, я за такую музыку тебя быстрее любой маршрутки домой доставлю. И денег с тебя ни копейки не возьму. Бабушку ты мне мою напомнил. Она у меня учителем в музыкальной школе работала. В её руках скрипка тоже часто плакала. Садись дед. Поехали.

Когда машина остановилась у маленького ветхого домишки, дождь уже кончился.

— Надо же, у тебя колодец есть? Редкость какая. У бабушки тоже во дворе был такой. Воды можно попить?

— Можно, — кивнул старик и пошёл в дом за кружкой.

Парень огляделся. Забор покосился, бурьян по пояс, лавочка не крашена, того гляди доска в труху от дождя и снега превратится. Помочь бы деду. Да, видно, некому. Над головой захрустела ветка, и яблоко, чуть не задев, пролетело мимо головы и упало в траву. Парень наклонился, чтобы поднять, и увидел в бурьяне старый кошелёк.

— Дед, твой гаманец? Чего разбрасываешься? — позвал он старика, вышедшего на крыльцо с кружкой и уже ковылявшего к нему по заросшей дорожке.

— Мой. Да как же это... — только и смог ответить старик. Слёзы в который раз за сегодня предательски потекли из глаз.

— Не плачь, дед. Не к лицу ветерану слёзы по пустякам лить. Всё образуется.

Похлопав старика по плечу, парень пошёл к калитке. Он знал, что ещё вернётся. И не только чтобы попить воды из колодца.

Порой беда незнакомых людей открывает в душе человека, казалось бы, несвойственные ему черты. Одинокий и позабытый всеми старик обрёл семью, а молодой таксист — деда, которого у него никогда не было. А как иначе?

Анна Прудская

г. Старгард, Польша

«МЕЛОЧЬ, ЕРУНДА»

На Кубу летели беспересадочным рейсом, утомительно и долго. Почти тринадцать часов в воздухе, в тесном эконом-классе. Съели завтрак и ланч, выпили кофе с бисквитами, посмотрели художественные фильмы: она — мелодраму, он — боевик. Потом ему удалось задремать, а она, чтобы скоротать время, листала глянцевый журнал, разглядывала иллюстрации, пыталась читать рекламные статьи. Но ничего не помогало — время, будто околдованное, зависло в воздухе. Остановилось.

Просто мистика какая-то! Тринадцать часов — целая вечность. С другой стороны, половина земного шара за спиной. Пока она зевает в узком кресле, самолёт, ломая часовые пояса, преодолевает громадное, уму непостижимое пространство. Где-то далеко внизу — бездонный и бесконечный океан, плотная ледяная вода, в которой таится отдельный, загадочный и опасный мир. Выше — чёрный космос с далёкими созвездиями, где гнездятся внеземные цивилизации. Там маленькие лупоглазые инопланетяне проживают свою непонятную жизнь... А посредине всего этого — несущийся на огромной скорости герметичный отсек с двумя сотнями пассажиров, у каждого из которых — свой душевный груз, своя история, свои болезни, проблемы и надежды...

Она в очередной раз безуспешно попыталась распрямить затёкшие ноги. Глупость, конечно. Вся эта затея с Кубой — чудовищная глупость, затратная и бесполезная. И зачем только согласилась, позволила себя уговорить? Дала слабину... Конфеты эти дурацкие, вино, букет гербер — всё одно к одному, всё в кучу. Смотрел так, словно завтра умирать. Ещё немного — и на колени бы опустился. «Теперь у нас всё будет по-другому!» — и ладонью, почти невесомой, погладил её

по плечу. Поцеловать не осмелился. А она почему-то не осмелилась сделать то, что в её положении было бы самым естественным и правильным: выставить его за дверь. Решительно, быстро и навсегда.

Она взглянула на мужчину, похрапывающего в соседнем кресле. Оттопыренная нижняя губа, покатые плечи, крашеные редкие волосы. Бежевый свитер — приличный, однако не самый дорогой. Расточительным её муж никогда не был, а был скорее «рачительным». Есть такое редкое слово, означает «разумную бережливость». Тридцать совместных лет, бок о бок. «Зря всё. И то, что на Кубу лечу, и то, что простила...» Накатила липкая и холодная тоска, в желудке потяжелело, словно проглотила гирю.

Да разве дело только в Кубе... Вся жизнь, что была до этого, — зря, зря и ещё раз зря! Семейные годы, с первого по тридцатый, распрямились и стали перед ней в полный рост. Она повернула лицо к иллюминатору, словно пытаясь найти там ответ на вопрос: «Что у меня впереди?»

А ничего. За толстым стеклом — абсолютная темнота, абсолютная пустота. Тупик.

* * *

Это был ранний студенческий брак. Всего не хватало — денег, еды, времени, сна. Сняли аварийный дом-развалюху с печным отоплением. В тот год зима выдалась особенно холодной, снежно-колючей, и что самое странное — длилась она гораздо дольше, чем все предыдущие зимы.

Ей пришлось взять академ, ему — перевестись на заочное и пойти работать. Их сын родился слабеньким, ему всё время хотелось кричать и плакать, а им обоим — спать. В тот год очень легко засыпалось и жутко трудно было встать. Возле детской кроватки дежурили по очереди. По очереди поддерживали огонь в ветхой печи, чтоб ночью не окоченеть.

Всё замерзало — вода в скважине, газ в баллоне. Воду носили из уличной колонки, грели в двух кастрюлях. В коридоре клубился густой пар, входная дверь от этого разбухала, а потом дубела на морозе. Крысы скреблись под кроватью, грызли мёрзлую картошку... Ненавистная зима, как назло, никак

не кончалась и не кончалась. Когда становилось совсем паршиво, она дула в кулачки, уговаривая саму себя: «Зима, девяносто дней. Что такое девяносто дней в масштабе жизни? — мелочь, ерунда. Надо просто перетерпеть». И действительно, становилось легче, время летело быстрее, все проблемы както упрощались сами собой.

Однажды ночью набрала воды в железную кружку, погрузила туда бутылочку со смесью, поставила на малюсенький огонь, присела на секунду... Муж проснулся, огонь выключил. И её разбудил: намотал волосы на руку, подвёл к плите, ткнул лицом в горелый пластик. А потом вытолкал на мороз в ночной рубашке и тапках. А дверь на засов запер.

Она топталась на студёном крыльце и, стуча зубами, благодарила Бога, в которого никогда не верила. За то, что уберёг от несчастья: пусть голая и замёрзшая, но живая. И ребёнок тоже жив, а ведь мог угореть! «Так мне и надо! Так и надо! Больше никогда не засну, пока не вырастет мой сын, никогда-никогда-никогда!» Он кричал через дверь: «Ну что, проснулась уже?» А она грызла губу и ощущала во рту спицу, острую и длинную, которая колола в самое горло и мешала отвечать.

* * *

А потом потеплело, посвежело — и в природе, и в сердце, и в самой стране. Наступила перестройка. Она восстановилась в институте, а он открыл кооператив, стал торговать тапками-балетками на резиновой подошве. Малыш делал первые шаги, только ходить особо было негде. Молодой отец смастерил мальчику вольер — вытащил из сарая дряхлую кровать и обил её по периметру старыми досками. Выставил во двор, на воздух: «Пусть дышит!» Ребёнок дышал, передвигался по вольеру и бесконечно облизывал доски, а потом страдал стоматитом и кишечными расстройствами.

Зато тапки-балетки продавались на удивление бойко. В доме появился корейский телевизор, а за ним и видеомагнитофон. Убогая и серая до недавнего времени жизнь заиграла красками, их ветхий домишко резко наполнился людьми — «на видик» стали приходить мужнины приятели. Комнаты в доме

располагались вагончиком, дверей между ними не было — в первом помещении спала она с малышом, во втором муж с друзьями пересматривали фильмы про Рэмбо.

Как-то раз он пришёл нервный и взбудораженный. Закрыл входную дверь на засов, задёрнул штору. Поставил на стол сумку, достал из неё коробку шоколадных ассорти, бутылку «Букета Молдавии» и целлофановый кулёк.

— Пересчитай!

В кульке был спрятан газетный свёрток. «Йо-о-о! Йа-а-а!» — на экране телевизора дрался Джеки Чан, а она, сидя по-турецки на продавленном матрасе, оцепеневшими руками раскладывала по стопочкам рубли: пять, десять, двадцать пять, пятьдесят, сто... Мордочка к мордочке, циферка к циферке. Муж курил и говорил. Оказывается, кооператив уже ни к чему — есть дела посерьёзнее и поинтереснее. Посерьёзнее... поинтереснее. Есть одна тема...

Возбуждение мужа, подогретое молдавским вермутом и шоколадом, передалось и ей. В слове «тема» слышалось что-то праздничное, многообещающее. На душе стало так невыносимо легко, что сами по себе вырвались бесстыдные, невозможные слова:

— Дай и мне закурить!

Он вытряхнул из пачки импортную сигарету, щёлкнул зажигалкой. Она не могла поверить в происходящее: надо же! Это был какой-то совершенно сюрреалистический вечер — на столе, покрытом дешёвой клетчатой клеёнкой, стояли вермут и конфеты, как символы новой, серьёзной и интересной жизни. А в платяном шкафу, в кармане овчинного тулупа, таился пакет с деньгами, которые она сама лично только что держала в руках! В голове щекотало и булькало от радостных предчувствий. Её мысли покатились к финскому пальто, трёхкомнатной квартире, гроздьям винограда и духам «Magie Noire»...

— Так вот. Надо деньги. Пятьдесят тысяч.

Мог бы с таким же успехом сказать и пятьсот тысяч, и даже сто миллиардов, она всё равно не понимала, сколько это. В больших деньгах не разбиралась, получала стипендию в пятьдесят рублей и мечтала о повышенной в семьдесят пять.

* * *

Он придумал одолжить у всех, у кого только можно. Нервничал, но нервничал по-хорошему, со знаком плюс. Перестал есть и спать. Висел на телефоне, курил, ездил. Собирал.

Десять тысяч решили взять у её дедушки, папиного папы. Она взялась помогать в переговорах. Специально пришли, когда дед был дома один, без бабы. Стояла невыносимая духота, дед, тучный, с бордовыми щеками, сидел в семейных трусах на узкой софе и тяжело дышал. Муж, наоборот, был собран, ровно держал спину и тщательно выговаривал каждое слово: есть покупатель на большую партию алмазных дисков. Это такие круглые штуки, которыми режут гранит. Одна штука стоит пять рублей. А покупатель хочет десять тысяч таких дисков. И платит за них не по пять, а по десять рублей за штуку. Пятьдесят тысяч надо, чтобы диски купить. И сто тысяч получить от продажи. Всё просто.

Деду идея не понравилась:

— Разгильдяйство цэ всэ!

— Ну почему? Нормальная сделка. К тому же очень выгодная. Мы вам, дедушка, не десять тысяч отдадим, а одиннадцать, если хотите. Через десять дней, а то и раньше, — мужнины слова звучали очень убедительно. Ей даже почудилось, что она им гордится.

— Тысячи надо зароблять руками, а не сделками!

— Вы, дедушка, рассуждаете вчерашним днём. Сейчас другое время и другие способы. Я вам предлагаю получить тысячу рублей за десять дней. Разве это плохо?

— Взяв бы мокру лозину та й налупыв! И тэбэ, и тэбэ, — разнервничался дед. — На чорта воны ему, твои диски?

— Это не мой интерес. Я об этом не думаю.

— От и плохо, шо не думаешь. Бо думать надо. Всегда!

— Ну де-е-едушка... Ну дай, пожалуйста... На десять дней...

И в самом деле, что такое десять дней? Мелочь, ерунда в масштабе жизни.

Дед деньги дал. Почему он это сделал — она так и не поняла. Уж точно не из-за дополнительной тысячи. Наверное, потому что когда она родилась, дед с бабой долго делали вид, что они не в курсе. Не одобряли выбор отца. Особенно

не одобряла баба, а дед время от времени пытался что-то наладить. Те злополучные десять тысяч рублей он снял со сберегательной книжки тайком от жены.

Через две недели они снова сидели в дедовой квартире. Пришли сказать, что денег нет.

Да, денег не было. Было много-много дисков. Они заполнили весь дом, лежали везде — под столом, под кроватью. Диски тоненькие, но зато целых десять тысяч штук! А получилось так: её муж-коммерсант деньги отдал, диски взял, а покупатель, который должен был приехать за ними со ста тысячами, — пропал. Не появился. Одна шайка-лейка, или, как теперь говорят, команда — продавец и покупатель. Да и красная цена этим дискам оказалась не пять, а от силы два рубля за штуку...

В тот раз баба была дома. Она сидела на стуле и мотала ногами вперёд-назад, как заведённая. И, как заведённая, повторяла, обращаясь к деду:

— Не, ну я нэ можу, я нэ можу. Петя, ты шо, дурный? Ты сдурив? Шо ты наробыв?

— Ну де-е-едушка, ну прости-и-и...

Они пообещали вернуть, но не скоро. Были другие, более важные кредиторы, которым надо было отдавать без промедлений.

* * *

Человеческая память — штука феноменальная. Она смазывает всё плохое, а самое плохое вообще прячет куда-то глубоко в подсознание. Чтоб не вспоминать и не страдать. Наверное, то, что с ними тогда произошло, было просто плохим, потому что она, хоть и смазанно, но кое-что помнит из той поры. Например, своё единственное платье, тёмно-синее, длинное. А к нему розовые тапки-балетки, те самые, на которых её муж сколотил «первый капитал». Это глупо — синее с розовым, но ничего не поделаешь, «быстро идёшь — не заметно». Воспоминания эти отрывочные, но чёткие: вот сын кашляет, хоть и лето в разгаре. Ему нужны гранаты и творог. Вот она идёт с большой спортивной сумкой, в ней лежат джинсовый сарафан на тонких тесёмках, несколько дезодорантов и куча

кружевных трусов — заграничное барахло на продажу. Сосед-фарцовщик подкинул: сарафан пятьдесят, трусы по пятнадцать, дезодоранты по семь. Всё, что сверху, — себе.

Вот ученица, тупая и капризная, с которой она занимается репетиторством. Ученица ненавидит английский, сидит с пустым взглядом и сосёт кончик ручки. Приходится её развлекать, уговаривать, чтоб хоть как-то выучила пару новых слов и правил...

От ученицы в магазин, из магазина в садик, из садика — домой. А дома одно и то же: с потолка капает в ведро вода, под кроватью пылятся алмазные диски. На кровати — мужчина её жизни, отец её сына, глава семьи. Лежит на животе, болтая ногами в кроссовках, словно ребёнок на полянке отдыхает.

Слава Богу, что не спился тогда. Хотя был на грани... Всё у них в то время было на грани. Из-за несчастных импортных трусов её чуть не исключили с пятого курса. Развалюха совсем рассыпалась, какой-то остроумный хулиган даже написал на облупленном фасаде синей краской слово «SOS». Это и был самый настоящий SOS... Крысы окончательно обнаглели, ходили по дому наравне с хозяевами, не стесняясь. Ребёнок не вылезал из простуд. «Мелочь, ерунда, — с трудом уговаривала она себя. — Переживу...» Чёртовы деньги. Их не хватало на жизнь, а уж тем более на возврат долгов.

Вскоре муж объявил:

— Мы едем на Польшу.

Тогда все так говорили: «на Польшу», «на Югославию», «на Турцию». Утюги, миксеры, фотоаппараты, надувные матрасы, мухобойки, льняные простыни, детские игрушки. Это — туда. Оттуда — футболки, джинсы, кроссовки. Вся страна брала отпуска, закупалась товаром и с огромными сумками лезла в поезда западного направления. Вся страна носила джинсы-пирамиды и футболки с вышивкой «Chanel». Они ничем не отличались от остальных.

* * *

Два года после института прошли под стук колёс. Баулы, сумки, верхние полки в плацкарте, граница, таможня... Польский бизнес оказался хоть и утомительным, но прибыльным.

На базарах было бойко и радостно: «Проше пани, то есть бардзо недрого, высока якощч, добры товар...» Сначала просто челночили, потом осели — сняли комнату в квартире у пожилой скрипачки пани Марты. Стали жить порознь, на две страны. Утюгами уже не занимались — муж дома скупал золото, отдавал знакомому ювелиру, тот клепал незатейливый ширпотреб, кулончики в виде рыбок и крабиков. А она потом продавала это добро на польском базаре. Каждый раз обливалась потом, предлагая из-под полы золотых рыбок. Вечно начеку, вечно в напряжении, головой туда-сюда: нет ли поблизости полициантов — как пугливый мелкий зверь, который боится хищников...

Вечером пани Марта заваривала «хербату» с бергамотом и наливала тарелку душистого горячего супа. Ставила на стол и смотрела с жалостью, как она ест. Однажды сказала: «Он тебе не коха, детско ты мое». Пани Марта была старенькая и, наверное, мудрая. Жизнь, как и музыку, понимала без объяснений.

Ей очень не хотелось покидать уютную плюшевую Польшу. Да и к пани Марте привыкла... Но наступило время «летать на Китай» — железнодорожные годы сменились авиационными. Китай — страна древней и богатой культуры. Конфуцианство, даосизм... письменность насчитывает более трёх тысяч лет. А для неё Китай — визгливые голоса, плевки, тесные двухъярусные ночлеги да грязные базарные туалеты. И много-много одинаковых спортивных костюмов с иероглифами на этикетках. Костюмами были набиты мешки. Тогда казалось, что вся Вселенная состоит из этих мешков... Самолёт без сидений, заваленный баулами, духота, толкотня. Сидела среди мешков, глотала слюну, чтоб уши отпустило, — и, зажмурив глаза, дула в кулачки: «Это всё временно. Это всё пройдёт. Ещё пару лет — и отдадим долги... Что такое пара лет в масштабе жизни! — мелочь, ерунда!»

Дома, по возвращении, — тоже базар, плевки и грязные туалеты, но только уже родные, отечественные. Дерматиновый пояс с кошельком на пузе. «Ну что вы, женщина, после стирки будет как новенький. Конечно, не линяет! Нет, эти спор-

тивные костюмы не электризуются. Сохнут очень быстро, точно вам говорю. Берите, не пожалеете, качество отличное, правда-правда...»

Зато живые деньги. Долгов оставалось всё меньше, жизнь потихоньку укреплялась. В конце концов деньги вернули всем, кроме деда с бабой. Стало легче дышать. После Китая было ощущение, что наконец-то закончилась война и наступило мирное время.

* * *

Лет шесть проходила в китайском пуховике и спортивном костюме. А на седьмой купила себе жёлто-белую собачью шубу. В самом конце зимы, по дешёвке. Шуба была тяжёлая и отдавала псиной, но это было не важно, главное — солидная вещь, из натурального меха! Она кружилась в шубе перед зеркалом, представляя, как идёт по белой улице, а в воздухе водят хороводы крупные снежинки, опускаются на голову, тают в волосах... Между тем муж что-то говорил:

— ...и тогда можно отделить полгектара земли под огороды... Домик, правда, ветхий и без удобств. Но ничего, справишься, ты ж у меня боец...

Оказалось, всё просто: квартиру купить им сейчас не по зубам. Зато в деревне Мироновка, что в тридцати километрах от города, за смешную цену можно взять заброшенный дом плюс хороший участок. Почти даром. Жить-то ведь где-то нужно. А на земле можно выращивать картошку и клубнику...

— ...и для себя, и на продажу... да и ребёнку деревня на пользу. Пока будете жить как на даче. А там, глядишь, раскрутимся, дом отремонтируем, или даже новый построим.

Она оцепенела. Секунд на десять превратилась в соляной столб. А потом стукнула кулаком по зеркалу:

— Нет уж, спасибо! Нажралась я ветхих домов, по самые брови! Всю молодость мою тряпкой об пол размазал! Не поеду я ни в какую Мироновку! Нет, нет и нет!

Стряхнула с себя тяжёлую шубу и выскочила на улицу.

Пошла быстрым шагом, не разбирая дороги. Мощный ветер дул в спину, добавляя ускорение. «Зачем был нужен

институт? Низачем. Ни Роберт Бернс, ни Чарльз Диккенс в этой дурной жизни не пригодились. Да и не пригодятся теперь уже никогда. И не буду я шествовать в шубе по снежной улице... а буду всю жизнь дуть в мёрзлые кулаки, прозябать в ветхих домиках...» Нет, война, оказывается, не закончилась, а, похоже, только набирает ход. Она почувствовала себя обманутой собакой, которая взяла ложный след, бежала-бежала да и уткнулась в бетонный забор.

По дороге назад ветер бил уже в лицо. Эмоции утихли, уступили место трезвым рассуждениям: в развалюхе дальше жить нельзя. Жильё купить тоже нельзя. На работу по специальности не устроиться. Значит, хатка в Мироновке не такой уж глупый вариант? «В конце концов, нельзя требовать от судьбы слишком много. Наверное, это у каждого человека так: выпадет на весь его век пара-тройка ярких моментов, и хватит. А между ними — нормальная, трудная, обычная жизнь».

Весна выдалась мокрая, долго ждали погоды, да так и не дождались. Картошку сажали на майские, под зябким моросящим дождём. Резиновые сапоги вязли в липкой земле. Полгектара, подумать только! Аграрий из неё неопытный, но что ж — лиха беда начало. Хатка жиденькая, покосившая, словно родная сестра предыдущей. Разве что крыша на голову не падает, а так — сыро и плесенью воняет. Бельё не сохнет. «Да уж, ребёнку пользы — хоть отбавляй!» Но муж успокаивал, мол, это только на лето. А после уборки урожая — или ремонт, или переезд.

Клубника не удалась — и водянистая получилась, и кислая. Зато картошка уродилась что надо. И снова мешки, и снова базар, только продуктовый. Старый «Москвич» загружали под завязку, еле выдерживал... «Покупайте, женщина, картошка экологически чистая, вкусная, своими руками растила! Берите-берите, мужчина, не пожалеете...»

Ни ремонта, ни переезда не вышло. Зимовать пришлось там же, в Мироновке. Муж часто уезжал в город, отсутствовал по несколько дней. Она отдала сына в мироновскую школу. Делала с ним уроки и читала книжки, пытаясь наверстать

то, что упустила за польско-китайские годы. Топила печку дровами и углём, мыла горячей водой деревянные полы, выносила на мороз подушки, чтобы выгнать из дома плесневый дух. Иногда вспоминала пани Марту, её слова: «Он тебе не коха, детско ты мое», — и понимала, что так оно и есть. Но плохие мысли старалась гнать поганой метлой. Подсчитала, что даже если грустить по полчаса в день, получится целых пятнадцать часов в месяц. Решила, что лучше эти пятнадцать часов тратить на песни. Для себя пела свои любимые, Битлз, Пугачёву и Наутилуса. А для сына — тоже любимые, «Крылатые качели» и «Прекрасное далёко».

Худо-бедно, но перезимовали. Кулачки помогли — в очередной раз убедилась, что в масштабе жизни один год — это мелочь, ерунда. Она уже мысленно готовилась к посадочным работам. Неожиданно муж, утром уехавший на «Москвиче», вернулся к вечеру на белой BMW.

— Тут такой расклад: едем в город. Насовсем.

Значит, снова деньги из ниоткуда. Шальные, быстрые и, стало быть, неправильные. Как в тот вечер с «Букетом Молдавии».

— Чья машина? — спросила сухо.

— Понравилась? Моя. Ну, наша. Не парься, не украл.

— Купил? А на что?

— Значит, было на что. Тему одну поймал, потом расскажу. Давай, бросай всё на фиг и собирайся — я для нас в городе классную хату снял.

Она не поехала. Пусть ребёнок третью четверть спокойно закончит. Вещи собрать надо, хатку помыть и с соседями попрощаться. Чтобы всё чистенько после себя оставить.

* * *

Две стюардессы выкатили тележку с напитками.

— Чай, кофе, сок, вода, кола? Что-нибудь желаете?

«Да, желаю. Попросите командира, чтобы развернул самолёт. Мне надо домой... Желаю погладить и накормить трёх своих кошек, убедиться, что у них всё хорошо».

— Чай, пожалуйста, — посмотрела на спящего мужа и добавила: — Два чая.

«Теперь всё у нас будет по-другому». Что за бред... Будут две тягостные, скучные недели в пёстрой и весёлой стране. «Отогреемся!» Нет, не отогреемся — слишком долго мёрзли. Эта поездка окончательно оторвёт их друг от друга. Она вздохнула и выпила невкусный самолётный чай.

* * *

После развалюшек съёмная городская квартира показалась настоящим дворцом. И вроде всё было хорошо, но мешало чувство, будто что-то не так. Что-то неправильно. Муж задумывал большие покупки:

— Чёрный кожаный диван хочу купить и два кресла, тоже кожаные...

— Ну уж нет. Надо сначала с дедом рассчитаться, — возражала она.

— А что, просит разве? В суд, что ли, подаёт?

— Не подаёт и не просит. Это я прошу.

— Да ладно тебе. Один диван и два кресла вопрос не решат. Ты ж ему внучка, тебе всё равно наследство полагается, какая разница — сейчас или потом. Логично?

На лице мужа обозначилось выражение невозмутимой легкомысленной тупизны. «И это человек, с которым я собиралась прожить до старости! Самый родной и близкий...» Её осенила мысль о том, что самого родного и близкого человека не существует в природе. Есть случайный попутчик, с которым собирались ехать вместе до конечной станции. Но в пути оказалось, что маршруты всё-таки у них разные и кому-то надо выходить раньше или вообще менять поезд.

Стали жить как будто параллельно, каждый сам по себе. Ей удалось найти работу по специальности: ходила по частным садикам, давала групповые уроки английского. Точнее, показывала на яркие картинки и называла слова: «э болл», «э кэт», «э дог». Лёгкие деньги. Изи мани. Один раз сходила в салон на маникюр и два раза была на массаже спины. Дедовы деньги, многократно обесцененные, всё же вернула. Как раз за месяц до его смерти... Дед зла не таил — ничего не помнил по старости, даже внучку свою не узнал.

— Паша?

— Это я, дедушка. Аня меня зовут. Дочка Володи...
— З Владивостока?
— Нет, дедушка. Я твоя внучка Аня. Помнишь меня?

Баба Паша, жена деда Пети, умерла годом раньше. Ничего уже не имело значения. Дед сидел на той же софе, что и в тот день, когда они с мужем приходили просить в долг. Был в меру опрятен, только забывался. Смотрел на неё пустым и одновременно таинственным взглядом, какой бывает у новорождённых детей. Как будто знал о ней что-то важное, что-то такое, чего не знала она сама...

Муж занялся официальным бизнесом, открыл фирму по грузоперевозкам. Из съёмной квартиры переехали в собственную. Вроде бы всё стало нормально, как у всех. Нормально — но ни на грамм не больше. Вещей в доме много, но все какие-то ненужные. И воздух — проветривай не проветривай, а спёртый, тухлый — словно в подвале живут.

Сын вырос молчуном. Сколько бы она к нему ни подбиралась, всё мимо — ни о друзьях не рассказывал, ни с девушками своими не знакомил. На юбилей к ней не приехал, сказал — дела. Обида тогда царапнула сильно, и на него, и ещё больше — на себя. Ведь любила же его, хотя и на расстоянии. «А надо было не на расстоянии. Надо было как положено, рядышком, за ручку...» Получается, что настоящей матерью и сыном они были всего четыре месяца — в далёкую мироновскую зиму. Четыре месяца из двадцати девяти лет... Что такое четыре месяца в масштабе жизни? Почти ничего, мелочь. Ерунда... А время упущено.

* * *

Постепенно перестали беседовать за столом. Просто жевали молча, каждый свою порцию. Она даже прозвище ему придумала: «Гбур». Гоблин угрюмый. Ужин съест, спасибо не скажет, тарелку не отодвинет. Из-за стола — плюх на диван, ноги на журнальный столик. И так целый вечер: полусидит-полулежит, каналы лениво переключает, зубочисткой во рту ковыряется. Как-то раз спросила его:

— Скажи, ты что, совсем меня не стесняешься?
— А чего стесняться? Мы ж свои...

Нужно было чем-то заполнить жизнь. Она стала подкармливать дворовых кошек. Их было трое — Обжора, Застенчивая и Нытик. Кошки окутывали душу щемящей нежностью, напоминали ей о детях, которых не родила, но могла родить: обжору в Польше, застенчивую в Китае, а нытика в Мироновке.

Гбур возмущался, когда троица, задрав хвосты, мяукала у них под окном:

— Гони их на фиг. Задрали!

Однажды схватил старый будильник и запустил в кошек с третьего этажа. А она впервые в жизни ударила его по лицу, наотмашь.

— Дура! Маразматичка!

Она выключилась и погасла. Слышала, как с треском захлопнулась входная дверь. Потом проплакала весь день и вечер, даже, кажется, спала с мокрыми глазами. И утром снова плакала. Не потому, что Гбур не вернулся, — а потому, что под окном пустота. И три сосиски, ровными маленькими кубиками нарезанные, заветрились в холодильнике.

Ходила по двору, звала. Как-то раз даже показалось, что кто-то тихо мяукнул в ответ, но — нет... За кусты заглядывала, за мусорными баками смотрела, но так никого и не нашла. Потом зачем-то долго сидела возле зеркала, рассматривая своё лицо: в глазах темно, под глазами тоже темно. Поворачивала голову вправо и влево, руки к щекам прикладывала... Машинально, без интереса. А потом надоело.

Гбур явился с вином, конфетами и цветами. «Герберы», — так же машинально отметила про себя.

— Прости. Что-то я погорячился как-то, что ли...

«Не хочу цветов, хочу котов», — хотела сказать, но промолчала.

— Тридцать лет без праздника прожили. Вот. Теперь всё у нас будет по-другому. Я путёвку нам купил. На Кубу полетим. Отогреемся.

Он посмотрел на неё так, словно завтра умирать.

И рукой, почти невесомой, провёл по плечу...

* * *

«Уважаемые пассажиры, просим убедиться, что ваши ремни безопасности пристёгнуты. Через несколько минут наш самолёт совершит посадку в аэропорту Хосе Марти. Температура воздуха в Гаване двадцать шесть градусов Цельсия. Местное время девять часов тридцать пять минут... Экипаж во главе с командиром благодарят вас за выбор нашей авиакомпании и желают приятного отдыха на Кубе».

Гбур зевнул и потянулся, хрустнув костями. А она подумала о том, что впервые за всю жизнь полетела самолётом не по делам и не ради коммерции. Впервые — ради себя самой. И что это, оказывается, — высшее из наказаний, которое просто нужно перетерпеть. По старой привычке поднесла к губам сжатые кулаки: «Ничего, перетерплю. Как-нибудь переживу. Это ведь всего лишь две недели».

А что такое две недели в масштабе целой жизни?

Мелочь, ерунда...

Петр Панасейко

г. Тольятти, Самарская область

САМАЯ ВАЖНАЯ ДОЛЖНОСТЬ В СТРАНЕ

На днях — в который уж раз! — посмотрел прекрасный советский фильм «Доживём до понедельника». И грустно стало на душе: «учителя» Вячеслава Тихонова уже нет с нами, и нет того государства, где прошли детство, юность, студенческие годы, нет многих моих учителей... Но остаёмся мы, и нам хранить память о людях, которые дали нам уверенный жизненный старт, привили иммунитет против лени, зависти, корысти. Об этих Учителях рассказывают мои воспоминания, написанные с теплотой, уважением и благодарностью.

Наталья Тихоновна

С первого по седьмой класс я учился в школе села Малиновка Гуляйпольского района Запорожской области Украины. Стал первоклассником, увы, не со своими одногодками, а годом позже. Виной тому мой день рождения: 15 октября.

Моя первая учительница Наталья Тихоновна Вишневская в трудные послевоенные годы учила в начальных классах мою маму. А поскольку та была очень прилежной и старательной, то учительница считала, что сын должен следовать примеру мамы. Так оно и получилось на самом деле.

В то время в нашем селе отсутствовало здание единой школы, оно сгорело после войны от пожара. Новую школу построили только в 1969 году. До этого пришлось учиться в отдельных зданиях. Мне повезло, школа, куда я пошёл в первый класс, находилась в конце моей улицы. Учительница же жила в другом месте, но, несмотря на возраст, старалась не опаздывать на занятия. Это был первый урок, который Наталья Тихоновна нам преподнесла: к своим обязанностям надо относиться серьёзно. Кем бы ни были, чем бы ни занимались.

Для меня это стало законом на всю жизнь: я никогда не опаздывал.

Наталья Тихоновна не была замужем, одна воспитывала сына. Трудно ей приходилось, но она с первых же дней нашего знакомства призывала нас любить во всей красе жизнь и беречь здоровье. Я и это запомнил. Находясь в больнице (мало кому удаётся более чем за шесть десятилетий избежать этого медицинского учреждения), часто вспоминал те слова своей первой учительницы. Она оказалась права: наше здоровье находится в наших руках. Не стоит надеяться только на врачей. Иногда медицина оказывается бессильна. Возможно, поэтому учительница и уделяла особое внимание урокам физкультуры. Старалась как могла. Летом — понятно, а как заниматься зимой, если в школе нет спортивного зала? Однако выход Наталья Тихоновна находила.

Минуло столько лет, а я вспоминаю с благодарностью наши зимние «уроки» физкультуры. Закрываю глаза и вижу перед собой идущую впереди Вишневскую: вела она нас тогда на сельскую птицеферму. Несмотря на то, что у каждого из нас дома имелись в хозяйстве свои курочки и петушки, птицеферма нам казалась сказочной, волшебной страной. Другой раз мы шагали дружно на молочную ферму. Со стороны казалось, учительница этими экскурсиями развивала наш детский кругозор, и только. Преследовала же она, безусловно, и другую цель, если учесть, что и птицеферма, и молочная ферма находились от нашей школы очень далеко, на окраине села. Таким вот образом Наталья Тихоновна учила нас выносливости (ходили в основном зимой по снегу и в мороз).

Я уже говорил о том, что она старалась не опаздывать. Но однажды это случилось, правда, по уважительной причине: задержалась на оперативном совещании у директора школы. Не помню других случаев опоздания, но этот мне запомнился на всю жизнь. Именно в тот момент я понял, что обладаю прекрасным творческим воображением. Оно посещало меня и в дошкольные годы, но я этому не придавал особого значения. Здесь же придать пришлось, ибо после ходил по сельским дворам и собирал сбежавших одноклассников на занятия. А произошло вот что.

Прозвенел звонок на первый урок, мы сели за свои парты, но учительница не появилась. Вдруг кто-то предположил, что, может, её и не будет. К примеру, она куда-нибудь уехала. Тут на меня нахлынуло творческое воображение: я представил, как и куда уехала Наталья Тихоновна. Поделился своими фантазиями с соседом по парте. Тот принял мою выдумку за реальность, и... половина класса убежала по домам. После этого моим родителям попало здорово от «опоздавшей» учительницы, а мне — ещё больше от родителей. Что такое творческое воображение, они, простые колхозники, не знали. Зато я узнал сполна.

Наталья Тихоновна была очень строгая, но справедливая учительница. Мы её уважали за это. Как и наши родители. Доказательством тому служит их помощь в строительстве дома для учительницы на центральной улице села. Разумеется, добровольно и без вознаграждения.

В мае 1991 года я посетил родное село, приехав с берегов Волги, где в городе Тольятти проживал с августа 1971 года. В первую очередь пришёл к Наталье Тихоновне. Посидели, поговорили, вспомнили былое. Узнав от меня, что я к тому времени окончил юридический факультет Куйбышевского государственного университета и работал кадровиком на Волжском автомобильном заводе, Наталья Тихоновна, улыбаясь, сказала мне:

— Знаешь, Петя, я ещё тогда поняла, что ты станешь интеллигентным человеком, получишь высшее образование, хорошую работу.

— Почему вы так считали? — спросил я в ответ. — Как могли предугадать это заранее?

— Я учила твою маму, учила и тебя. Поняла: если маме выучиться не позволили семейные обстоятельства, то она всё сделает, чтобы ты выучился. Она была одной из лучших моих учениц. Тебя я относила к той же категории.

После этой тёплой беседы я загорелся желанием увидеть её сына, который работал председателем колхоза в другом районе. На следующий день я поехал в тот район.

И там я убедился, что его мама, уважаемая в селе учительница, достойно воспитала не только сотни учеников, но прежде

всего своего сына. Видел, как к нему подходили колхозники и чуть ли не в пояс кланялись. Не из-за страха, как во времена крепостного права помещикам, а и из-за глубокого уважения к руководителю хозяйства, в котором работа спорилась.

Давно нет уже в живых Натальи Тихоновны, но её уроки, и не только по школьным предметам, поминаю добрым словом.

Фёдор Васильевич

В понедельник первого сентября 1969 года мы, шестиклассники, на торжественной линейке во дворе новой школы не увидели своего прежнего классного руководителя. О том, что учительница по семейным обстоятельствам переехала на постоянное место жительства в город Донецк, никто не знал. Мы увидели на её месте мужчину с наградными планками на пиджаке. Когда же он с нами зашёл в класс, мы несказанно обрадовались: это был наш новый классный руководитель Фёдор Васильевич Пилипенко. Пришёл в школу закалённый в боях и сражениях фронтовик, инвалид Великой Отечественной войны. Преподавать стал историю. И не только.

Не знаю, кто додумался сделать в нашей школе продлённый день, но только это неприятное для большинства учащихся событие случилось помимо наших желаний. Не уверен, что лично я выдержал бы целый учебный год уходить в школу рано утром и возвращаться из неё поздно вечером, если бы не Фёдор Васильевич. Днём он учил нас истории, а ближе к вечеру — контролировал выполнение нами домашних заданий. В минуты отдыха рассказывал о своей фронтовой молодости. Так изо дня в день.

Кроме истории, как мы заметили, он очень интересовался политикой. Часто спрашивал «не по теме»: «Кто сейчас стоит во главе Польши, Венгрии, Чехословакии, ГДР?» Отвечать в основном приходилось мне, поскольку я тоже интересовался не только античной историей, но и историей братских на то время европейских социалистических стран.

Много учитель рассказывал о фронте, где он получил тяжёлое ранение, после которого сильно хромал, и поэтому ездил к нам в школу из родного села на специальной машине для инвалидов с ручным управлением.

Из его рассказов о войне я для себя понял одно: в любой ситуации, даже безвыходной, надо не сдаваться, не паниковать, а бороться до конца. «Самое страшное на войне, — говорил нам классный руководитель, — рукопашный бой и штыковая атака. Выживает только тот, кто в этом бою не потерял самообладание, кто по физическим и моральным качествам значительно превосходит врага».

Если о 1941 — 45 годах Фёдор Васильевич рассказывал охотно, то лет предшествовавших касаться не хотел. Речь, конечно же, о сталинских репрессиях. В классе я постеснялся задать на эту тему вопрос, но когда он однажды подвозил меня по пути из школы, спросил:

— Фёдор Васильевич, если бы не эти предвоенные репрессии в стране, дошли бы немцы до Волги?

— Нет, Петя, дальше Днепра они бы не продвинулись. Здесь сыграли бы не последнюю роль и репрессированные несколько десятков тысяч военнослужащих, и, разумеется, маршалы наши.

— Говорят, 22 июня Германия напала на Советский Союз внезапно?

— Как учитель истории могу сказать одно: Сталин знал не только день нападения, но и час, но не верил этой информации. Ты, Петя, не верь слухам. Учись дальше, посещай библиотеки, архивы и сам поймёшь, где правда, а где ложь.

Эту науку я крепко себе намотал на ус.

Много раз вспоминал я своего любимого учителя во время службы в армии. Когда попадал в экстремальные ситуации и мне становилось не по себе, я представлял, что Пилипенко на фронте было ещё труднее, но он выжил. Я следовал его примеру. Этот человек, которого уже нет в живых, навсегда остался для меня образцом чести, мужества и отваги.

За свою долгую жизнь я дважды побывал в Москве. Когда я на поезде подъезжал к столице, на память мне пришли сказанные Фёдором Васильевичем слова: «Фронтовыми дорога-

ми я прошёл через множество освобождённых нами городов на пути в Берлин, но лучшего города, чем Москва, не видел. Будете, ребята, в Москве, поклонитесь ей и от моего имени. Вам-то ещё жить да жить. А мне вряд ли доведётся там побывать ещё раз». Я выполнил его просьбу, поклонился. Чем вызвал вопрос проводницы: «Молодой человек, вам плохо? Что с вами?» Ей не понять, что мне действительно стало бы плохо, если бы просьбу своего учителя-фронтовика я не выполнил.

Сегодня, когда я вижу, как в Европе, освобождённой советскими воинами от фашизма, пытаются пересмотреть итоги Второй мировой войны, я вспоминаю слова своего учителя истории: «Дорогую цену заплатил наш народ за Победу, и надо сделать так, чтобы никогда, нигде и никто не подвергал сомнению этот бессмертный подвиг».

Ольга Ульяновна

В седьмом классе Фёдора Васильевича сменила Ольга Ульяновна Плетень. Она, учитель русского языка и литературы, стала нашим классным руководителем. Происходило это в украинской школе. Никто тогда не запрещал говорить по-русски и не преследовал за использование русского языка в быту или в официальной обстановке. Читая на уроке по её просьбе фрагменты повести Гоголя «Тарас Бульба», я и представить тогда не мог, что спустя несколько десятилетий Тарас «заговорит» по-украински.

Благодаря этой учительнице я постепенно стал отдавать предпочтение русскому языку. Причём на полном серьёзе. Вспоминается один случай. Как-то с одноклассником мы пошли в клуб смотреть фильм «Их знали только в лицо» Одесской киностудии. Его я до конца так и не досмотрел. Причиной послужило то, что актёры разговаривали на «мове». То же самое относится и к чтению книг. Не знаю: если бы на месте Ольги Ульяновны оказалась другая учительница русского языка, полюбил бы его я так же сильно и на всю жизнь?

— Петя, сочинения ты пишешь замечательно, — однажды услышал я от неё, — но нельзя фантазировать, когда пишешь по конкретному произведению.

Этот диалог между нами состоялся после сочинения по «Повести о настоящем человеке» Бориса Полевого. В моём сочинении появилось окончание повести, которого писатель и предположить не мог. Ольга Ульяновна Плетень стала объяснять мне, что иногда полёты своего творческого воображения надо сдерживать и давать ему волю только тогда, когда пишешь произведение на основе творческого вымысла. За этот «внеклассный урок» я остаюсь благодарен учительнице по сию пору.

Когда мои родители увезли в 1971 году нас с братом из украинского села в российский город, я из всех сельских учителей боготворил именно Ольгу Ульяновну. Ещё бы! Благодаря ей я смог не только успешно окончить настоящую русскую школу, где об украинском языке понятия не имели, но и не менее успешно окончил государственный университет, где преподавание велось на русском языке.

Вспоминая тот наш седьмой класс, последний в украинской школе, я сейчас догадываюсь, что числился в то время у учительницы на хорошем счету. Иначе как объяснить, что спустя годы она в течение долгого времени вела со мной переписку. Со слов её сына Николая, моего одноклассника, ни с кем из бывших учеников его мама, находясь на заслуженном отдыхе, не переписывалась.

В июле 2016 года в возрасте 89 лет Ольга Ульяновна ушла из жизни.

Я бережно храню её пятьдесят одно письмо. Они дороги мне как свидетельство настоящих бескорыстных отношений учителя и ученика.

Когда я получил первое письмо от моего школьного словесника, то не смог сдержать эмоций: слёзы появились на глазах.

«Молодость хороша тем, что не знаешь, какие испытания готовит тебе жизнь, — читал я в письме. — Я была молода, счастлива, возле меня были дети, муж, мама, зарплата была приличная, окружена заботой, вниманием. И вдруг всё это валится. И ты — одна. Есть дети, но жизнь пронеслась и по ним.

Закон капитализма «или всех грызи, или в грязи лежи» затоптал многих...»

Далее я читал и только восхищался её феноменальной памятью. В нашем селе её учениками были сотни ребят, она помнила всех по именам и фамилиям. Мне, её ученику, приятно было прочитать в письме, например, о своих бывших сельских одноклассницах: «А какие у нас чудесные девчата. Да, хорошая Валя Белая, а не повезло в жизни: второй раз вышла замуж, и тоже неудачно. Надя Ткачун вышла замуж за Северина Василия. Двойникова Наташа живёт в Покровке, замужем за Олейником. Азанова живёт в Запорожье. Разлетелись, как птицы, кто куда».

Переписываясь с бывшей учительницей, я ей обещал написать в будущем воспоминания об учителях села Малиновка. Моё намерение она одобрила: «Молодец, что у тебя есть планы на будущее. Если ты чувствуешь в себе силы, призвание — пиши, Петя. Может, это будет твой хлеб. Да и нести правду в массы, учить на своих книгах будущее поколение — это неплохо. Пробуй! «Не святые горшки лепят». Откуда нам знать, может, и Герцен начинал с нуля?»

«Хлебом» моё призвание не стало. Однако воспоминания о своих школьных наставниках я написал и рад тому, что задумка моя была поддержана моей любимой учительницей.

Вернёмся, однако, в годы школьные.

С нетерпением мы ждали очередного классного часа. Уроки — это уроки: строго по программе. А вот на классном часе можно было разговаривать на любые темы. Понятно, что нас интересовала биография Ольги Ульяновны. Вот что мы однажды о ней узнали.

Родилась в июле 1927 года. В паспорте же указана дата: 1928 год. Нет, это не ошибка паспортистки. Виной тому — проклятая война. Не «убери» тогда Оля из своей жизни один год, направилась бы она в товарном вагоне с такими же несчастными девчатами в Германию на принудительные работы. Оттуда, увы, возвратились после Победы не все.

После восьмого класса она поступила в Гуляйпольское педагогическое училище. Потом — в институт. В село к нам приехала с мужем, будущим нашим директором школы,

в 1955 году. Получается, сын Коля, мой одноклассник, родился там же, где и я. Мы дружили. Мне нравилась в нём простота и открытость. В этом, безусловно, заслуга его мамы.

Иван Фёдорович

Заканчивался 1969/70 учебный год. В честь 25-летия Победы в районе организовали соревнование учащихся сельских школ по футболу. Принцип был тот же, что и на чемпионатах мира: чтобы попасть в район, необходимо пройти отборочный турнир. С этой целью мы и направлялись в соседнее село. Школа находилась на окраине, и мне показалось, что мы быстрее доехали до Полтавки, чем потом двигались по ней: то гуси, то утки, то воспитанники детского садика, идущие на прогулку, мешали нашему быстрому передвижению по улицам села на велосипедах.

Наши соперники ждали нас на футбольном поле, и необъяснимая уверенность в победе вскружила им головы. Это мы заметили сразу же по их гордым взглядам, что, впрочем, не испугало нашего учителя Тарасенко.

— Ребята, — обратился к нам Иван Фёдорович, — на фронте наш командир говорил: хотите посмотреть очередной незнакомый для вас город — берите его. Хотите поехать в Гуляйполе — выигрывайте матч здесь, в Полтавке. Кстати, кто из вас не был ещё ни разу в районе? Поднимите руку.

На вопрос никто не ответил, поднятых рук не оказалось. Учитель добавил: «Прекрасно, поедете ещё раз». Но только возвращаться надо с победой.

Сейчас я не помню, кто из нас конкретно забил победный гол, ибо футбольная команда состояла не только из моих одноклассников, рядом боролись за победу и семиклассники, и восьмиклассники. Хитрый педагогический приём учителя-фронтовика сделал своё дело. Вспоминая сегодня тот футбольный матч, уверен: на победу повлиял огромный авторитет Тарасенко.

В район мы поехали уже в разгар лета, поехали, получается, семиклассниками. Проиграли с минимальным счётом.

Причина заключалась в том, что наша сборная понесла существенные потери: сдав выпускные экзамены, восьмиклассники покинули село, рванули с радости в Запорожье. Пришлось тренеру в срочном порядке делать замену.

После игры, уже в автобусе, Иван Фёдорович пожал каждому руку со словами: «Молодец!» Делал он это специально: после такой игры мы еле добрались до автовокзала: настолько нас она вымотала. Затем услышали успокоительные для проигравших слова: «Ничего, ребята, не переживайте. Надо кому-то и проигрывать. Главное: вы сыграли достойно». Мы расплакались. Но не от поражения на футбольном поле. Наши сердца тронуло тёплое обращение учителя.

На следующее лето я с родителями уехал навсегда из родного села. Но уверен, что спустя пять лет, в 1975 году, в честь 30-летия Победы воспитанники моего учителя физкультуры взяли реванш, заняв одно из призовых мест. Моё предположение не взято с потолка, а основано на реальных фактах. В район учащиеся-спортсмены Малиновской школы ездили часто: кроме футбола проводились соревнования по лёгкой атлетике, например. Мне приходилось не один раз читать в районной газете, как многие наши соперники на соревнованиях удивлялись: «Надо же, учитель — инвалид войны, а его ученики побеждают».

Да, Иван Фёдорович прошёл войну, получил тяжёлое ранение, став инвалидом. Руки не опустил, занялся патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Много раз он возил пионеров на районную игру «Зарница», воодушевляя школьников-«бойцов» на «праведный бой». «Скинуть бы сейчас мне годков сорок, — говорил фронтовик, — я бы с вами тоже пошёл в атаку».

Всех своих атак, поднявшись из окопа, Тарасенко пересчитать не мог. Но всегда добавлял: «Самое страшное на войне — терять боевых друзей. Идёшь в атаку с ними, а к заветной высоте добираешься без них».

В седьмом классе на уроках физкультуры по программе предусматривалась стрельба из малокалиберной винтовки. Стреляли в установленном месте за селом в карьере. Когда кто-то из одноклассников все пули пустил в голубое небо,

учитель взял винтовку в руки. По мишени мы потом поняли, почему такие, как он, выжили в том аду на фронте. Не знаю, но догадываюсь, что имелся у него значок «Ворошиловский стрелок». «Стрелять метко, — объяснял нам бывший фронтовик, — это получить шанс на сохранение жизни. Не попадёшь ты во врага — он может не промахнуться». Этот «закон» Иван Фёдорович проверил на себе. Потому и вернулся с войны в родное село.

Нам часто приходилось выполнять общественные работы в колхозе под руководством Тарасенко. Как-то сидели мы на току, перебирая кукурузу. Грустили не на шутку: работы — делать не переделать. После обеда наша производительность труда стремительно падала. Вдруг видим, наш ответственный от школы учитель залез наверх и начал монолог. Он сводился к тому, что несчётное количество раз у него на фронте возникала такая же ситуация: уставшие после боя солдаты вынуждены вновь идти в атаку. Не было сил, но бойцы следовали вперёд за своим командиром. На войне слово «Не могу!» исчезает. Вместо него появляется «Надо!»

К концу дня неочищенной кукурузы не осталось.

Я всегда с особой теплотой относился к тем участникам войны, вернувшимся с фронта, которые не ушли в себя, а несли людям радость. Тарасенко — не исключение. Прошло почти полвека, а перед моим мысленным взором часто возникает наш клуб. На его сцене идёт спектакль сельской художественной самодеятельности. Играли «Фараона». Одно появление Ивана Фёдоровича вызывало в зале какое-то воодушевление. Мы, школьники, сидели в первых рядах и видели, с каким азартом учитель исполняет роль.

В 1991 году, посещая Малиновку, я не мог не зайти к нему домой. Сильно постаревший, он рад был встрече со своим бывшим учеником. Вот только видеть он меня не мог: полностью ослеп. Сказались фронтовые раны. Когда же я завёл разговор о его жене Марии Павловне, он расплакался. И я следом за ним. Так мне стало жалко дорогих моему сердцу сельских учителей. Вытерев слёзы, я пытался узнать у него, почему его не заберут к себе дети. Сын проживал с семьёй в России, дочь — в Казахстане. Или наоборот, точно не пом-

ню. Но не в этом дело. Иван Фёдорович, похоронивший год назад жену, о которой я ещё расскажу, сам отказался переезжать к детям. Он не захотел покидать село, в котором он прожил долгую счастливую жизнь вместе с супругой и где она была похоронена.

Возникает вопрос: а кто ему еду готовил? Готовили, конечно, не помирать же фронтовику голодной смертью. В те далёкие времена в школе имелся предмет для девочек под названием «Домоводство». Так вот, уроки они проводили в доме Тарасенко. По очереди. Варили ему и украинский борщ, и галушки, и всё, что тот пожелает. При каждом посещении «поваров» у хозяина дома по-особому выглядели его слепые глаза. В них стояли слёзы радости. Радости от того, что не забыт своими бывшими ученицами, что он нужен.

Ушёл из жизни Иван Фёдорович, мой дорогой учитель физкультуры, 15 июня 1995 года. Умер страшной смертью. Об этом я узнал, получив очередное письмо от Ольги Ульяновны.

В тот воскресный день с утра она пошла навестить своего бывшего коллегу, захватив с собой продукты. Дверь не открылась. Заперта была на ключ изнутри. Женщина пошла к соседям узнать, не у них ли Тарасенко. Там никого дома не застала и вернулась обратно. Стала смотреть в окно и... потеряла дар речи: одна из комнат наполнена дымом. Белые занавески на окнах стали чёрными. Позвала участкового инспектора милиции. Дверь взломали и увидели картину не для слабонервных: на полу лежал Иван Фёдорович без признаков жизни.

При осмотре места происшествия установили: произошло замыкание в электропроводке у холодильника. Телефонная трубка висела, видимо, хозяин пытался позвонить, но не успел: угарный газ не дал ему шансов выжить.

Мария Павловна

Как я уже говорил, до 5-го класса здания школы у нас находились в разных местах. Нелегко руководить ежедневно учебным процессом в таких условиях. Но, к счастью,

в нужное время в нужном месте оказался человек, который, взвалив на свои плечи этот тяжёлый груз, нёс его с честью из года в год. Это заведующая учебной частью Мария Павловна Тарасенко.

Она жила на соседней с нами улице. Строгая, добрая и справедливая — именно такой мне запомнилась наша завуч.

Помню, как мы с тревогой ждали урок украинского языка, который должна была вести завуч Мария Павловна. Когда закончился первый её урок, у нас, как говорится, от сердца отлегло: наша новая учительница считала ниже своего достоинства повысить голос на ученика, а уж тем более принародно обидеть или унизить его. Она не была «начальницей».

В пятом классе Мария Павловна преподавала у нас ещё и историю древнего мира. Да так она нас научила, в том числе и меня, что история стала моим любимым предметом не только в школе, но затем и в университете. Я и сейчас, закрыв глаза, мысленно представляю себя в классе за партой, внимательно слушающего рассказы Марии Павловны о Древнем Вавилоне, о Древнем Египте с его загадочными пирамидами, построенными на века, о Древней Греции и олимпийских играх, о храбром рабе Спартаке, поднявшем в Древнем Риме невиданное до того восстание, о Юлии Цезаре, Августе.

В каком уж классе, не помню, в школе устраивали театрализованное представление к 23 февраля. Мальчишкам предложили одеться в военную форму. Повезло тем, у кого к тому времени в семье кто-то отслужил в армии или сохранилась форма отца. У моего папы форма не сохранилась, больше взять было негде. И что вы думаете, кто мне пришёл на помощь? Правильно, сама завуч школы. К тому времени её сын демобилизовался. Моя мама — конечно, с её разрешения — форму перешила под меня, но даже мне стало жалко, что от прежней формы ничего не осталось. Ради общего дела, а проходил какой-то районный школьный конкурс, наша завуч форму своего сына не пожалела.

Я долго хранил у себя дома подарочные книги, подписанные завучем Тарасенко и директором школы. Их я получал в качестве награды за хорошую учёбу часто. К сожалению,

в связи с переездами они утеряны, но сохранилась на всю оставшуюся жизнь светлая и добрая память об этом удивительном педагоге.

Александр Григорьевич

К Ивану Фёдоровичу, моему учителю физкультуры, я ходил в 1991 году не один. Меня сопровождал бывший директор школы Плетень Александр Григорьевич, муж Ольги Ульяновны.

С Александром Григорьевичем прошлись мы не только по дороге к дому Ивана Фёдоровича и обратно, но и по нашей родной школе. Он водил меня по ней словно штатный экскурсовод.

Преподавал директор географию и рисование. География мне давалась весьма легко: я мог найти по просьбе учителя любое море или реку, но вот с рисованием у меня имелась проблема. Причём весьма большая.

Подойдя к доске, Александр Григорьевич, взяв в руки мел, лихо нарисовал лисицу. «Рисуйте, ребята, её у себя», — предложил он. Я нарисовал лисицу, которая, по словам учителя, в природе не была замечена. «Куда же она подевалась?» — спрашивал я. «Да уж не знаю», — последовал ответ.

Однажды директор возвращался домой из поездки в район и проходил мимо пруда возле центральной улицы. Там, на сливном бассейне, увидел двух подростков, играющих с предметом, напоминающим немецкую мину времён Великой Отечественной войны. Решил проверить, не ошибся ли он. После этого родители тех двух пацанов долго благодарили Александра Григорьевича за спасение жизней своих сыновей.

Мину, видимо, вымыло у берега водой. Она в земле поржавела, но если бы ребята бросили её в огонь, то случилось бы самое страшное. Моя мама рассказывала, как на второй год после войны погиб её одноклассник, нашедший в земле две мины и привязавший их к себе за пояс. Когда стал бежать, они взорвались.

Александр Григорьевич, как и его жена, учился в Гуляйпольском педагогическом училище, прежде чем поступить в институт. При встрече он мне долго рассказывал об этом учебном заведении. Называл его кузницей педагогических кадров. Узнав, что я окончил университет, да ещё и юридический факультет, улыбаясь сказал: «Я в этом, Петя, не сомневался, ты тогда уже подавал надежды. Кроме математики».

— Что вы, Александр Григорьевич, имеете в виду?

— Ольга Ульяновна тебя здорово хвалила по русскому языку и литературе, а вот Лариса Гурьевна (учитель математики) сожалела, что ты не уделяешь должного внимания алгебре и геометрии.

— Знаете, что, Александр Григорьевич, была бы моя воля — я оставил бы начальные классы как есть, а остальные разделил бы на технические и гуманитарные. Я в старших классах изучал математику с элементами высшей математики, изучал физику, химию, а в жизни моей они не пригодились.

— Это надо делать целую революцию в образовании.

Сегодня, чтобы узнать, где какая река находится, нужно зайти в интернет и задать поисковику соответствующий вопрос. Тогда же я выходил к доске, на которой висела огромная карта мира, и с указкой в руках искал по просьбе учителя географии Волгу. Искал и не знал, что пройдёт год — и я в ней буду купаться и жить рядом с ней. Куда она впадает, я нашёл быстро, но вот с её истоком пришлось повозиться немного. Зато нашёл сам, без «помощи зала», без «звонка другу».

Приехав домой с Украины, я стал готовить статью о моих малиновских учителях. Накануне первого сентября послал её в Гуляйполе в районную газету. Что напечатают, не надеялся, ибо на тот момент ГКЧП фактически поставил крест на бывшем СССР. Однако же напечатали. И, как сообщала мне Ольга Ульяновна, моя статья продлила жизнь бывшему директору школы. В день выхода газеты он находился в районной больнице. Прочитав статью, воспрянул духом и продержался ещё немного. Я рад, что моя статья помогла.

Об огромном авторитете директора среди учащихся говорят убедительно два случая. Накануне 20-летия Победы мы смотрели в воскресный день в нашем старом саманном сельском клубе фильм «Живые и мёртвые». Вдруг сеанс прервался и на сцену вышел Александр Григорьевич с просьбой, которая состояла в том, чтобы после фильма ученики-зрители направились в находящийся рядом парк. Там стоял памятник советскому солдату. Надо было навести порядок. Директор фильм смотреть не стал и покинул клуб.

Каково же было моё, первоклассника, удивление, когда увидел в парке чуть ли не половину мальчишек нашей школы. Нас и второклассников директор отпустил. А ведь Плетень не мог всех запомнить, кто находился в клубе, можно бы и не ходить. Однако пошли!

Второй раз, уже когда построили новое здание школы, привезли уголь в котельную. За окном собирались тучки. А мы, семиклассники, собирались после уроков домой. В это время к нам зашёл Александр Григорьевич, просил задержаться и занести уголь с улицы в помещение котельной. Он не приказывал, он просил. И... пошли с нами даже девчонки.

Помнится мне ещё один случай.

Зимним вечером 1965 года он возвращался домой из школы. По пути увидел девочку небольшого роста, которая с портфелем в руках изо всех сил пыталась преодолеть сугроб. Пройти мимо не мог. Это была первоклассница Надя Ткачун. Он вытащил её из сугроба, взял у неё портфель и за руку довёл до дома, обрадовав маму ученицы. Кто знает, не вспомнил ли он этот случай, когда оформлял спустя годы на работу Надежду Андреевну Ткачун старшей пионервожатой? Всё может быть!

Антонина Михайловна

В связи с переездами родителей учиться мне пришлось в трёх школах. Последней оказалась тридцать пятая города Тольятти, где я и учился с марта 1972 по июнь 1974 года. Школа считалась новостройкой. В те далёкие советские времена в городе школы появлялись как грибы после дождя.

Понятно, что и учительский состав не являлся «спетым», как в моей сельской школе, где я учился семь лет. Тем не менее среди новых моих учителей встретилась та, которую я словно знал тысячу лет. Это мой классный руководитель Антонина Михайловна Кальбова.

До конца учебного года оставалось совсем немного времени. До этого я учился в девятой школе, расположенной в другом конце города. «И зачем ты, Петя, сорвался с прежнего места, не дождавшись окончания учебного года? — допытывалась у меня Кальбова. — Окончил бы там восьмой класс и пошёл в техникум». Пришлось объяснить, что такое решение приняла моя мама.

Учебный год закончился. Сдав экзамены за 8-й класс, мы прошли собеседование в школьной комиссии во главе с директором В. Г. Харитоновым. Главной задачей членов комиссии было формирование девятых классов. Забегая вперёд, скажу, что многих ребят из предыдущего класса в девятом я не увидел: ушли в профессионально-технические училища и техникумы. Из-за не сложившихся отношений с учительницей русского языка я тоже решил податься в техникум.

Первой мне дала «отлуп» учительница математики Л. И. Трясцина, её поддержала классный руководитель:

— Не спеши, Петя, от нас убегать. Впереди ещё два учебных года. Не сможешь в институт поступить до армии — поступишь после. Зачем тебе терять на техникум два лишних года? Ты способен на большее.

Отказать Антонине Михайловне я не смог и остался в стенах школы ещё на два года. Классный руководитель не ошиблась: в девятом классе учительница русского языка, поняв свою педагогическую ошибку (попробовала бы она после семи лет обучения в чисто украинской школе говорить одинаково с учащимися, которые учились в чисто русской школе всё это время), изменила своё отношение ко мне. А я действительно после службы в армии поступил в государственный университет.

В девятом классе в школе планировалось проведение праздника «Золотая осень». Для сцены в актовом зале по-

надобились жёлтые листья. Набрать их в школьном дворе не представлялось возможным: деревья за год не успели вырасти. Оставалось идти в лес, расположенный в черте города между двумя городскими районами: Автозаводским и Центральным. Никто не хотел этого делать. Тогда на классном часе я услышал приятный голос Кальбовой:

— Петя, возьми на своё усмотрение ещё кого-нибудь и сходи в лес. Ты же вырос на Украине, где расстилаются бескрайние степи. Лесов-то в районе Гуляйполя нет, насколько я знаю. Заодно познакомишься с лесной флорой и фауной и нам расскажешь на уроке.

Отказать я снова не смог. Взяв с собой одноклассника, направился в лес.

Должен сказать, что в отличие от истории, русского языка и литературы биологию я раньше недолюбливал. Хотя понятие «биология» такое же обширное, как и «математика». Сначала, помнится, мы изучали ботанику. Рассматривать всякие там «цветочки» мне нравилось. А вот зоология уж никак не нравилась. При изучении внутреннего строения животных мне становилось их жалко, несмотря на то, что изучали по учебнику. Слава Богу, без практических занятий, в отличие от ботаники. Анатомией в начале восьмого класса я не интересовался особо, делать это начал, когда нам её стала преподавать Антонина Михайловна. А потом увлёкся и общей биологией, тайны которой нам также раскрывала Антонина Михайловна.

Моя одноклассница Надя Ткачун

1970 год. У нас проходит классный час на тему «Моя будущая профессия». Мероприятие получилось интересное. Классный руководитель Ольга Ульяновна даже установила регламент выступлений. В то время очень популярными считались профессии космонавта, лётчика, что не могло не сказаться на решении ребят. Я, например, тоже записался в лётчики. Как показало время, никто из нас не стал пилотом. Детские мечты так и остались мечтами.

Что касается наших девчонок, то у них разнообразия в выборе было больше: медсёстры, учителя, повара, продавцы и так далее. Не помню сейчас, кем мечтала стать Надя Ткачун, но, зная её огромное желание учиться, её отношение к учителям, думаю, она мечтала стать педагогом.

Через двадцать лет, в мае 1991 года, побывав в родной сельской школе, я узнал, что педагогика стала делом жизни моей одноклассницы Нади Ткачун.

После окончания Малиновской восьмилетней (сейчас она средняя) школы в 1972 году Надя поступила и успешно окончила в городе Запорожье техникум, а в 1976 году вернулась в родную школу. Директор с радостью встретил одну из лучших своих учениц и назначил её старшей пионервожатой.

В 1990 году моя одноклассница, выдержав вступительные испытания, поступила на учёбу на заочное отделение в Бердянский государственный педагогический университет, а в 1995 году окончила его, получив диплом по специальности «Учитель начальных классов». После третьего курса Надю перевели на должность учителя, «вручив» первый класс. С тех пор она верна своей профессии. Во всех анкетах продолжает и по сей день писать: «Продолжаю работать», — хотя возраст и позволяет уйти на заслуженный отдых.

Позапрошлый год она выпустила очередной свой четвёртый класс. Это удивительный класс. К четвёртому году обучения мальчишки и девчонки так привыкли к своей учительнице Надежде Андреевне, так её полюбили, что не могли ничего другого придумать, как по утрам собираться не в школьном дворе, а у калитки дома учительницы. Это при том, что жили они в разных концах села. Поначалу пёс Филя ворчал на непрошеных гостей, но потом разобрался и не стал мешать встрече хозяйки со своими подопечными. Ученики упорно начинали свой учебный день с прогулки в школу рядом с учительницей. Ничего подобного раньше мне слышать не приходилось. В селе информация распространяется быстро, не скроешь очевидное. «Вот смотри, соседка, — говорила одна сельчанка другой, — снова наша «наседка» повела в школу своих «цыплят»».

Обучая учеников и учениц, Надежда Андреевна воспитала, выучила и своих детей: дочь Елену и сына Владимира. Дочь продолжила дело своей мамы: окончила после школы педагогическое училище, затем Запорожский национальный университет, преподавала в колледже. Почему-то я уверен, когда вырастут три внучки Нади, кто-то из них обязательно пойдёт по следам своей любимой бабушки, а они приведут их в школу, на самую важную и нужную должность в любой стране — должность учителя.

20.03.2019



Георгий Петров

г. Москва – с. Тасеево, Красноярский край

ПАРТИЗАН. НАРКОМ. ПИСАТЕЛЬ

В этом году третьего марта (а по новому стилю шестнадцатого) исполнилось сто тридцать лет с того дня, когда в селе Тасеево Канского уезда Енисейской губернии (сейчас — Красноярский край) в семье Григория Федосеевича Яковенко и его жены Евдокии Ивановны родился сын. Наречён он был Василием по церковным святцам, в честь святого мученика Василиска воина.

Забегая вперёд, скажу, что крестьянский мальчик Василий Яковенко, повзрослев, сполна пережил то, что ему было преназначено святцами. И воином был достойным — в годы Первой мировой войны он заслужил три Ордена Святого Георгия для низших чинов армии Российской империи, три года служил унтер-офицером. Потом возглавил армию тасеевских партизан — она, эта Тасеевская Советская Федеративная Социалистическая Республика — вспомним ещё раз! — не покорилась власти адмирала А. Колчака, который намеревался поставить на колени не только тасеевских, но и всех сибирских крестьян. Его люди расстреливали семьи партизан, пороли шомполами, не раз с разных краёв поджигали село, пока не получили сокрушительный удар на таёжной реке Кайтым, за которую со всем домашним скарбом обозом в сотни подвод ушли с партизанами выжившие сельчане, где и дали решающий бой колчаковцам, после которого три дня сжигали в тайге сотни трупов пришельцев...

Именно об этом сопротивлении и свободолюбии сибирских пашенных земледельцев Василий Григорьевич, волею судеб оказавшийся во главе партизанского движения на севере Канского уезда, написал пронзительную книгу, скромно озаглавив её «Записки партизана». А о том, какую она сыграла роль в его жизни, мой рассказ впереди...

Надо не забыть, что одна из первых книг о Гражданской войне в России написана была молодым писателем Владимиром Зазубриным (Зубцовым). Она называлась «Два мира» и рассказывала как раз о Тасеевской партизанской республике, и под именем главного героя Григория Жаркова в ней выведен В. Г. Яковенко.

Работая в Канске после установления советской власти Председателем уездного комитета, В. Яковенко с женой Марией Мулловой жил в одном доме с В. Зазубриным, и, пожалуй, в то время в нём вызревала книга, которую он завершит уже в Москве, находясь на посту Народного комиссара земледелия России... А В. Зазубрин потом напишет «Щепку» — литературное свидетельство того, как новая власть утверждалась на российских просторах. По её мотивам снят редкой силы фильм...

Итак, к концу 1921 года, к началу перехода к новой экономической политике случилось так, что в крестьянской (на восемьдесят семь процентов) стране не было ключевого Народного комиссара — человека, с которого можно было бы спросить за состояние дел в сельском хозяйстве. Соратники вождя революции, порой мало что смыслившие в земледелии, из кожи вон лезли, чтобы стать Наркомом, войти в Совнарком. Что делает В. И. Ленин? Он, пусть и с запозданием, понимает, что Наркомом земледелия надо делать человека не из его окружения революционеров, а из народа, из крестьян, и обращается к тем, кому доверял, за помощью найти в России достойного человека на этот пост.

Самородок, выхваченный из богатейшего пласта сибиряков, понадобился Предсовнаркому для использования в роли, унизительной для Василия Григорьевича. Состояла она в том, чтобы успокоить крестьянскую Россию, которая воем выла и возмущалась бестолковостью наркомов, которые только то и могли делать, что бороться с царизмом и своими противниками, и ничего более. Идея была проста: назначим его Наркомом земледелия, чтобы снять возмущение в стране, а по-настоящему распоряжаться землёй и судьбами крестьянства, пути их развития будут определять подручники Ильича.

12 декабря 1921 года В. И. Ленин получил подробное письмо от И. А. Теодоровича, который в годы колчаковщины оказался в Сибири, неплохо знал командарма тасеевских партизан В. Яковенко, а в конце 1921 года занимал пост одного из двух заместителей Наркома земледелия (вместе с В. В. Осинским):

«Дорогой Владимир Ильич!

Позвольте сказать несколько слов по вопросу о (возможном — **Г.П.**) *Наркоме земледелия из крестьян.*

В числе возможных кандидатов на этот пост разрешите назвать одну фигуру, на мой взгляд, имеющую к этому много данных. Это Василий Григорьевич Яковенко, сибиряк, крестьянин, старожил села Тасеевского, хлебнейшего села хлебнейшего в Восточной Сибири Канского уезда.

По внешним данным, это — мужик лет за 40 (В. Г. Яковенко на тот момент не было и 33 лет! — **Г.П.**), *рослый, могучий, волосатый бородач от сохи...*

...Безоговорочно преданный лозунгам Советской власти, дисциплинированный и трезвый, он удивительно умел сочетать «энтузиазм масс» с чисто мужицкой хозяйственностью и реалистичностью, сказавшимися в той налаженности партизанского тыла, какой знаменит Тасеевский фронт против Колчака. Авторитет его среди крестьянства был поразительный. Вера в его личную честность и разумность — повсеместна...

На мой взгляд, он будет очень уместен на посту мужицкого наркома... Знание мужицкой души, крестьянского быта, кровная связь с деревней, безупречность личная, героическое прошлое... может быть тонко использовано наркомземским аппаратом для любой с.х. кампании. Где бы и когда бы ни появился в крестьянской толще «такой» нарком, — он поможет сделать то, что нам нужно. Ив. Теодорович».

Кандидатур было несколько. В. И. Ленин выбирал... И вот 22 декабря 1921 года им отправлена телефонограмма:

«Тов. Молотову и всем членам Политбюро.

I. Прошу ускорить ознакомление всех членов Политбюро

с тем сообщением Теодоровича относительно сибирского крестьянина Яковенко, которое было мною Вам послано...»

В январе 1922 года В. Яковенко по инициативе В. И. Ленина был назначен на этот пост — при непременном решении ВЦИК Российской Республики.

Не станем углубляться в повседневную деятельность Народного комиссара земледелия России в те месяцы нечеловечески напряжённой работы. Работа под руководством В. И. Ленина, плотная его опека, порой с несправедливыми придирками к Наркомзему, соседство на заседаниях с народными комиссарами И. Сталиным, А. Луначарским, Л. Троцким, Г. Чичериным, множеством других руководителей не помешали вчерашнему командарму тасеевских партизан, ходившему на службу в начищенных сапогах и ладной гимнастёрке, подпоясанной ремнём, продолжать работу над книгой.

В 1924 году он направляет свою рукопись авторитетному коллеге в Совнаркоме Л. Троцкому, напомним, Наркомвоенмору, для отзыва. Хотя в Совнаркоме были и другие Народные комиссары, кто «баловался» литературными пробами. К примеру, А. В. Луначарский, сочинявший «пиесы на фэнтэзийные темы» для московских театров, которые по его указанию включали его «произведения» в свои репертуары... И. Сталин относился к его творчеству с улыбкой и недоверием, очень неоднозначно, если судить по документам, которые недавно мне удалось увидеть в РГАНИ...

Так вот. Л. Троцкий, ещё не прочитав рукопись до конца, в июне 1924 года спешит ответить автору «Записок партизана»:

«Дорогой т. ЯКОВЕНКО!

Я успел прочитать около третьей части Ваших воспоминаний, но не хочу задерживать дальше ответа. Мне воспоминания очень понравились: написано точно, просто, строго фактически, без многословия и прочих грехов, обычных для воспоминаний. Я думаю, что очень и очень стоит издать их отдельной книжкой. Нужно только позаботиться, чтобы

корректор тщательно проверял корректуру, так как в рукописи есть некоторые описки, особенно в знаках препинания. Надо непременно издать и как можно скорее. Хорошо бы приложить к книжке схематическую карту того района, где развёртывались события.

С коммунистическим приветом. Л. Троцкий».

Книга в том же году была издана. Есть сведения, что её изучали в военных академиях — как пособие по ведению партизанской войны (похоже, Наркомвоенмор постарался...). Некоторые исследователи утверждают, что её перевели и издали в Германии. Не раз её издавали в красноярских издательствах.

А вот с запиской-рецензией в четверть листа (на машинке) случилась целая история. Она была обнаружена среди документов В. Г. Яковенко при его аресте в феврале 1937 года в квартире № 59 Наркомовского дома на улице Грановского (ныне — Романов переулок). Её и сегодня можно увидеть в личном, как говорят, «расстрельном» деле В. Г. Яковенко в Центральном архиве ФСБ России. В отличие от иных документов (протоколы допросов его и других лиц из разных мест, различные справки и пр.), эта записка не подшита в дело, а вложена в конвертик, приклеенный на внутреннюю сторону картонной обложки «Дела» с пометкой неведомого следователя: «ПЕРЕПИСКА С ТРОЦКИМ». Думается, не надо объяснять, какую роль сыграл в то время этот крохотный отзыв на книгу в судьбе ленинского выдвиженца, сибирского партизана Василия Яковенко...

Но вернёмся в те годы, когда В. Яковенко продолжал службу на других государственных постах — сначала в Приёмной М. И. Калинина, в земельных комиссиях ВКП(б), а потом и в Госплане СССР. В его гостеприимной квартире в доме на Грановского бывали многочисленные земляки и соратники по партизанской борьбе, часто приходили писатели А. С. Новиков-Прибой, И. М. Касаткин, С. П. Подъячев, он сам любил с женой М. Мулловой ходить в театры, музеи, много читал...

К 20-летию Великой Октябрьской социалистической революции М. Горький задумал выпустить серию книг «История гражданской войны». Работа началась вскоре после празднования 10-летия Октября. Поток воспоминаний был столь масштабный, что создали специальную Редакцию ИГВ, возглавил которую академик И. Минц, в Секретариат вошли многие известные учёные и достойные люди. Воспоминания В. Г. Яковенко планировалось использовать в разных ипостасях. Так, в 6-м томе ИГВ, по «Плану сборника в ознаменование 15-летия освобождения Сибири от колчаковщины», В. Яковенко как автор значится в двух главах — «Тасеевский фронт» и «Партизанское движение в Сибири». Кроме того, отдельно предполагалось издать новую рукопись В. Яковенко «Записки партизана» отдельной книгой, за что автору выдано авансом 4500 рублей.

«После того как рукопись была принята Секретариатом ИГВ к изданию отдельной книгой,— писала позже литературный редактор М. Бондаренко,— мне весной 1934 г. было поручено т. Минцем прочесть её и дать свой отзыв. Мой отзыв по прочтении был следующий.

Рукопись имеет богатый фактический материал по Тасеевскому партизанскому фронту в Сибири, литературно хорошо обработана, но вместе с тем имеет ряд больших политических ошибок и ряд спорных мест по фактическому освещению событий... Сам Яковенко первоначально делал вид, что он не возражает против правки рукописи в редакции...» (Там же).

Сейчас прервёмся, чтобы было понятно, что свой отзыв на рукопись В. Яковенко литредактор М. Бондаренко пишет в мае 1937 года (!), когда бывший партизанский вожак и бывший Нарком в правительстве В. И. Ленина уже четыре месяца находится под арестом, когда позади множество допросов по «участию в контрреволюционной террористической организации правых», когда он был признан организатором и руководителем т.н. «Партизанского центра» в Москве, возглавлявшего контрреволюционную повстанческую террори-

стически-диверсионно-шпионскую организацию в Сибири и действовавшую под руководством Контрреволюционного центра правых (имелись в виду Н. Бухарин и А. Рыков). И оставалось два месяца до вынесения В. Яковенко смертного приговора...

Знала ли эти данные М. Бондаренко, мы утверждать не можем. Но она, похоже, чувствовала, что дни В. Яковенко сочтены. В своём отзыве-доносе от 31 мая 1937 г. она стремится «соответствовать» моменту и пункт за пунктом ниспровергает творчество ещё вчера авторитетного автора:

«1... *Сам Яковенко — малограмотный человек, оказалось, что первоначальный проэкт книги вместе с Яковенко писал троцкист Романов* (писатель тех лет. — **Г.П.**), *дальнейшую литературную обработку делал Кирпичёв* (журналист на радио. — **Г.П.**).

2. Яковенко к тому же подписывал троцкистскую «платформу 83-х» (впоследствии В. Яковенко свою подпись снял, но для литредактора это было неважным. — **Г.П.**).

3. Поступили сведения, что Яковенко имеет какие-то отношения к восстаниям в Тасеевском районе в 1931 году против коллективизации, и другие материалы.

4. Яковенко занял резкую позицию против какой бы то ни было правки при сокращении рукописи и стал мобилизовывать со своей стороны соответствующим образом общественное мнение (специально выезжал в Сибирь для этого), от ряда бывших партизан стали поступать заявления в Секретариат ИГВ. В этих заявлениях доказывалась абсолютная правильность рукописи и, якобы, её международное значение, отсюда — требование скорейшего выпуска книги.

5. Сам Яковенко стал подавать в Секретариат главной редакции заявления с требованием скорейшего выпуска книги, с угрозами, что он на задержку книги пожалуется т. Сталину и т.п.

6. Были поданы заявления в партийно-контрольные органы на Бондаренко и Минца, что рукопись маринуется в результате вредной политики Секретариата ИГВ «на конфискацию

мемуарного фонда вообще», что Бондаренко недооценивает роли крестьянства в революции, т.е. она «троцкистка»...

7. Яковенко стал всячески дискредитировать всех тех участников-партизан, которые выступали хоть с какой-либо критикой его рукописи, не считаясь с тем, что эти товарищи пока незапятнанные члены партии (Сухотин, Говорек, братья Буда и др.).

Все эти факты я считаю необходимым привести для того, чтобы показать, какие методы применял враг народа,

1) чтобы протащить свою рукопись в печать,

2) протащить и защитить свои взгляды.

Все эти факты заставили с особой настороженностью отнестись к рукописи и, по сути говоря, «замариновать» её».

Судьба рукописи, о которой говорит М. Бондаренко, неизвестна до сих пор. Есть документ — Протокол обыска и ареста, в котором значится:

«На основании ордера Главного Управления Гос. Безопасности НКВД СССР за № 223 от 9 февраля 1937 г. произведён обыск у гр. Яковенко.

Взято для доставления в Главное Управление Государственной безопасности следующее:

Один тюк разной переписки — 1 тюк.

Рукописи — 4 папки...»

Далее перечисляются иные конфискованные предметы: значок ВЦИК РСФСР — 1 шт., чемодан малый, крышка от мыльницы, футляр от зубной щётки, портмоне, шарф, галстук, портянки, 4 запонки, а чуть ранее — охотничьи ружья, патроны к ним, паспорт, партбилет, медкарточка Медсануправления Кремля, бинокль, а также пишущая машинка «Жеблок» с футляром — 1 шт.

Тут самое время рассказать об этой пишущей машинке.

Принадлежала она не В. Яковенко (он на момент ареста, напомним, был директором НИИ новых лубяных культур при Наркомземе СССР), а его молоденькой жене Раисе Залесиной, с которой он познакомился, работая в Госплане СССР

в 1931 — 35 гг. Сейчас трудно судить, каким образом молодая машинистка (она работала в Госплане, родилась в 1911 году на Украине) стала его новой женой, а может, это было модное тогда «поветрие», когда жёнами крупных руководителей становились женщины с еврейскими корнями... Но факт есть факт.

Из Сибири В. Яковенко приехал с женой Марией Мулловой, дочерью крупного тасеевского купца, который помогал партизанам. Все тяготы жизни партизан она разделила с мужем. Вот строчки её воспоминаний: «Ушла с партизанами в тайгу и я. Но вскоре моего дядю и меня Василий Григорьевич направил с заданием в Тасеево, где хозяйничали колчаковцы. Он предполагал, что они нас не тронут. Но не успели мы вернуться в село, как были арестованы колчаковцами. Дядю моего расстреляли, а меня, как невесту Яковенко, заточили в каталажку. Начались допросы, угрозы, издевательства и т.д.».

Они поженились в 1920 году, уже после выдворения колчаковцев, а до свадьбы было три года преданной, беззаветной дружбы, которая переросла в любовь. Они прошли вместе все годы партизанской жизни, вселялись в правительственный дом на улице Грановского, 3, где и прожили до начала тридцатых годов. Маленькая деталь: В. Яковенко выделили трёхкомнатную квартиру, но он настоял отдать одну комнату другим людям, и туда вселилась целая семья! Но потом... Скорее всего, Василий Григорьевич, решивший серьёзно заняться литературным трудом, нуждался в помощнице, которая бы ему перепечатывала рукописи после частых переделок. Он расстался со своей «партизанской» женой и в квартиру под № 59 в доме на улице Грановского привёл машинистку из Госплана...

Раиса Абрамовна, получившая свой срок — как ЧСИР (член семьи изменника Родины), была арестована за две недели до расстрела В. Яковенко — 17 июля 1937 года, прошла длинный путь по лагерям, написала несколько писем на имя Л. Берии о несправедливом осуждении мужа и тем более её самой. В одном из ответов ей сообщили, что якобы В. Г. Яковенко скончался в 1938 году...

В годы оттепели она жила уже во Владимире (с рождённым в неволе сыном), до этого из Сегежлага, а потом и из Владимира, предпринимала отчаянные усилия (вместе с Марией Мулловой) для реабилитации несправедливо репрессированного мужа. Потом вернулась в Москву, снимала квартиру неподалёку от Главной военной прокуратуры, куда регулярно ходила за новостями о расстрелянном муже, — но теперь уже о его реабилитации...

Но главное, ради чего она билась, — желание вернуть пишущую машинку фирмы «Жеблок», которая для неё была средством к существованию. Это ей не удалось. Но в архивах я видел её заявление с просьбой вернуть пишущую машинку, книги и иные документы, однако она получила лишь небольшое денежное возмещение за конфискованные в 1937 году книги... А компенсацию ни за машинку, ни за охотничьи ружья, а тем более за рукопись талантливого мужа ей не выплатили...

* * *

И несколько слов в завершение этой истории.

О Раисе Залесиной мне удалось узнать мало нового. В личном деле В. Г. Яковенко есть копии протоколов её допросов, отчаянных писем её Л. Берии, несколько писем с просьбой о реабилитации мужа, да в книгах «Мемориала» её фамилия встречается, и кратко изложен её путь страданий по многочисленным лагерям.

Второй муж Марии Мулловой происходил, видимо, из латышских стрелков, и с началом перестройки свою семью он решил увезти в Латвию. Перед отъездом мне удалось переговорить с ней, моей землячкой из Тасеево, по телефону. Она уже плохо слышала, теряла зрение и с болью в голосе, сквозь слёзы, говорила, что не знает места захоронения своего первого мужа, чтобы проститься с ним перед уездом. В редких своих заметках о пережитом, которыми делилась с земляками-тасеевцами, она сохранила о первом муже самые светлые воспоминания. «...Василий Григорьевич был не только человеком долга, но и простым, отзывчивым в семейной жизни...» — писала она в районную газету «Сельский труженик».

В тот момент и я не знал того, что государственные деятели, расстрелянные летом 1937 года, сжигались в крематории Донского монастыря, а их прах директор крематория Нестеренко лично (!) развеивал на территории монастыря... Узнал я об этом позже...

Больше об их судьбах мне ничего не известно.

При подготовке публикации автором были использованы документы из следующих архивов:

1) Российский государственный архив социально-политической информации;

2) Центральный архив Федеральной службы безопасности РФ;

3) Российский государственный архив экономики;

4) Российский государственный архив новейшей истории;

5) Российский государственный военно-исторический архив;

6) Государственный архив Красноярского края.

Ирина Салтанова

г. Севастополь

ПЕРЕКЛИЧКА ВРЕМЁН

Моей подруге Татьяне Никольской посвящается

Копейка

Она вывернулась с комом земли из-под тяпки, когда весной я углубляла лунку для посадки цветов на клумбе. Маленькая, потемневшая от времени и ставшая неброской, в тон земли, она привлекла моё внимание идеально круглой формой. Потерев монетку, я угадала по размеру (не более пятнадцати миллиметров в диаметре) и лёгкому весу её номинал — 1 копейка. Слева и справа от надписи вдоль канта колосья пшеницы, украшенные снизу листьями дуба — символом славы, мужества, стойкости. В месте перевязи двух ветвей — ракушка, означающая достаток и процветание великой страны. Вглядевшись, я различила год её выпуска — 1990.

На «шоколаде» патины блеснули розово-медные ленты, перевязывающие колосья герба Советского Союза образца 1956 года. Ровно пятнадцать витков — по числу советских республик. И внизу аверса монеты под гербом надпись — СССР.

В 1956 году я пошла в школу и навсегда запомнила новогодние утренники в младших классах. Вокруг ёлочки водили хороводы не только снежинки, белочки, гномики, зайчики, грибочки, но и дети в национальных костюмах, наряды которых олицетворяли интернациональную дружбу народов Союза от азербайджанцев до эстонцев.

Так оно и было в то время, в нашей школе учились дети разных народов: русские, белорусы, украинцы, армяне, греки, евреи, грузины, крымчаки и караимы*!

* Крымчаки и караимы – немногочисленные этнические группы населения, проживающие в Крыму. Первые исповедуют иудаизм, вторые – караизм.

Вспомнилась и пословица из детства, призывающая быть экономной: «Копейка рубль бережёт». Копейка была значимой денежной единицей: за 1 копейку можно было купить коробок спичек или 2 почтовых конверта без марок, или утолить жажду в летний зной стаканом газированной воды без сиропа, что было очень даже замечательно!

В начале девяностых, обесцененная на стыке эпох, пролежавшая где-то, в том числе и в земле, более двадцати восьми лет после того, как официально перестал существовать СССР, монета сохранилась для истории.

Филигранно отчеканенная копейка, она не померкла, напротив, со временем приобрела своё величие. Знак качества, который присуждался в советское время продукции высшей пробы, я с удовольствием мысленно присвоила сейчас этой копейке! Монета всколыхнула в памяти массу счастливых и разных воспоминаний о прошлом.

Давно выросшие дети огромной страны, когда-то мы были единым советским народом. Сейчас, являясь живыми свидетелями истории, мы можем многое рассказать о том времени, которое навсегда ушло.

Прощание с Тбилиси

Мы стояли на смотровой площадке, у края обрыва. Почувствовав моё волнение перед головокружительной высотой, ты обнял сзади, крепко сжал ледяную то ли от осенней прохлады, то ли от волнующей близости руку и, чтобы увидеть знакомый уже пейзаж моими глазами, склонился, едва коснувшись щеки мягким юношеским пушком.

Ты хотел показать нам как можно больше: «Вон тут — наш дом, а там мой институт, смотрите, левее — парковая зона — это санаторий, где мама оздоровляет отдыхающих. А помните старинную церковь, где вас поразил своим богатством позолоченный алтарь со Святыми ликами, мы заходили туда в первый день вашего приезда? Вам ещё понравился церковный хор, там поёт много профессионалов из нашего опер-

ного театра. Да, точно, мы в тот вечер заходили и в кафе — подвальчик, где с пылу с жару подают хачапури, неужели вы никогда раньше не пробовали их? Работа отца? Отсюда не видно, это с другой стороны горы... Как жаль, что так рано уезжаете, вы же не попробовали ещё хинкали, мы могли бы сходить в ресторан! Хинкальни обычно посещают больше мужчины, женщинам не принято ходить туда одним, с нами — да, можно».

Ты говорил, говорил и просил нас остаться. Подождать — осталось совсем немного до выходных, — и ты отвезёшь нас, чтобы показать твои горы. Магия сказочно-красивых, приятных слуху сочетаний звуков завораживала: аджапсандали, хачапури, сацебели, сациви, чурчхела, шашлык, наконец!

«Сезон винограда, орехов, мандаринов в самом разгаре... зря вы уезжаете! Хорошо, договорились, жду вас с сестрой в следующий раз. Мы поедем все вместе в горы, на нашу турбазу, попробуете настоящее грузинское вино: и молодое, и выдержанное... Такого вина нигде в мире нет! А-а-а, вы пробовали его в гостях у Вахтанга?! Точно, вспомнил, бар его папы всегда открыт для гостей дома! Чего вы смеётесь? Бабушку вспомнили?

Да, она у меня понимающая! Знает, что такое «вариант» — вечеринка до полуночи! Вам хорошо, она утречком вас крепким чаем отпоила и спать уложила, а мне — в институт на занятия... Девчонки, слушайте, хорошо хоть бабушка Лена прекрасно готовит грузинские блюда. Чем она угощала вас? Лобио? Это её «коронка»! Вспомнил, ещё сациви с курицей и чахохбили».

Город распахнулся перед нами. Мы узнавали места, которые уже запомнились нам, а там дальше в голубоватой дымке скрывались равнины, холмы, дивной красоты загадочные горы...

Лес падал в овраг. Его чуть тронула осень. Яркими пятнами осень напомнила о себе, но в общем лес окружал нас величественно-зелёный. Жёлтая лента, окаймлённая серым камнем, — Кура несла свои воды, и разливалась на множество

ручейков, и снова сливалась. И казалось, город стиснул непокорную реку с двух сторон и ей тесно. Мы прислушались: город дышал.

День выдался ненастный, мы бродили по пустому парку, немного грустные от предстоящего расставания. Но были счастливы тем, что видим великолепный город, вдыхаем чистый горный воздух и навсегда оставляем немножко себя, своих сердец в небольшой, но уютной квартире радушных, гостеприимных хозяев на втором этаже дома с верандой в самом центре Тбилиси. Судьба больше не подарила встречу в городе, навсегда взявшем нас в плен.

Время от времени, открывая шкатулку с украшениями, я беру из неё скромный мельхиоровый перстень — он сделан на любой размер, примеряю его и любуюсь ликом царицы Тамары. И мысленно разговариваю со ставшими мне дорогими людьми: Гиви, его родителями Леваном и Варей, бабушкой Леной, подарившей нам с Аней на память о встрече в Тбилиси милые грузинские сувениры: по перстню и подвеске.

Где тесно, там и место

На Руси так говорят о гостях. В начале октября семидесятого года мы свалились как снег на голову родственникам Ани в Тбилиси.

— Здравствуйте, — поздоровался он первым, увидев нас с подругой. Двери квартиры открыл черноволосый стройный парень. Немного помедлив, пригласил войти. За его спиной маячил ещё один, приблизительно такого же возраста, юноша-грузин.

— Здравствуйте, я Аня, — подруга протянула руку для приветствия хозяину квартиры, — и это Ира, — представила она меня.

Я сразу узнала его — по фотографии, высланной в одном из писем много лет назад ещё в девятом классе. Мы переписывались тогда втроём: Гиви — грузинский брат Ани, она и я. Он возмужал с тех пор. Все стояли в прихожей и молчали. Большие карие глаза Гиви с удивлением смотрели на нас. Аня решила объясниться:

— Мы хотели снять номер в «Иверии», но там нет мест. Вот мы и подумали, может, тётя Варя нам как-то поможет?

В глазах Гиви я увидела сверкнувшую молнией догадку.

— Подождите, вы... ты — Аня, а ты — Ира? Те самые, из Севастополя?

— Ну да...

— О боже! — Он темпераментно затарабанил кулаками в стену.

Дело в том, что мамы Ани и Гиви всего несколько лет как нашли друг друга. И теперь общались только по письмам.

— Как я сразу не понял! Проходите в гостиную, девочки, сейчас я позвоню маме.

Через пару минут Гиви объявил нам: «Сначала завтракаем, потом идём к маме на работу!» Он представил нам друга, в это утро ребята готовились дома к зачётам в институте. Кажется, их совсем не расстроило, что занятия на сегодня, похоже, отменяются.

В мгновение ока на столе появилась сковорода с ароматно пахнущим блюдом, графинчик с напитком, блеснувшим на солнце рубиновым цветом, и маленькие хрустальные рюмочки, в которые мальчишки налили красное вино. Первый тост, который я услышала в Грузии, не запомнился, но то, что он произносился в честь нашего приезда, — точно!

А на завтрак было настоящее грузинское мясное лобио с молодой зелёной фасолью. Я ела его всего один раз — в первый день нашего приезда в Тбилиси.

Позже мы узнали, что лобио было приготовлено русской бабушкой Гиви, мамой его мамы, она же и вела всё хозяйство в доме.

У нас с подругой уже не было бабушек-дедушек. Я даже не могла представить, насколько энергичной может быть бабушка! У неё были удивительно молодые и весёлые глаза. Весь дом, вся атмосфера — тепла, радости, покоя создавалась и поддерживалась ею.

Вечером за ужином собралась семья Гиви, все, кроме бабушки. Она где-то дежурила, и поэтому мы познакомились с ней только через день. Отец пришёл поздно, он был

начальником крупного транспортного предприятия. Таким я его и представляла: высокий, слегка полноватый, с тёмными, тронутыми сединой, волосами и крупным, безупречной формы, грузинским носом. Он сел на оставленное ему за столом место. Было трогательно наблюдать, как он украдкой положил свою ладонь на руку сидящей рядом жены, слегка пожал и несколько секунд поглаживал её сверху.

Варя была настоящей красавицей: французская стрижка, уложенные светло-русые волосы прекрасно оттеняли красивый южный загар и большие серые глаза на лице. Удивительно было увидеть здесь, в Грузии, такую пару!

Ещё утром, когда Гиви привёз нас на работу к маме, мы узнали от Вари, что остаёмся гостить в их доме. А за ужином я поняла, что решение принять гостей в доме исходило не иначе как от Левана — главы семьи. Гость для грузина — посланник Бога, о чём говорит народная пословица «Гость от Бога».

Мы с Аней были в восторге от родителей Гиви, они попросили называть их по именам: Леван и Варя!

Гиви так больше и не дождался нас с Аней вместе в гости в Тбилиси.

Жизнь была жестока и безжалостна в начале девяностых к смешанным грузино-русским семьям. Я думаю, что для его родителей, особенно для отца, это была настоящая трагедия: покинуть любимую Родину, работу, родные стены, оставить своих близких, друзей. Вместе, всей семьёй, продав квартиру, они уехали в Россию, на историческую родину русских предков Гиви — бабушки и мамы.

И через много лет мы встретились в Москве.

Ангелы с небес

Как запросто раньше мы принимали решения отправиться в путешествие, поехать в гости! Но время было уже другое, многие и не мечтали об отпусках вдали от родных мест, а в стране тем не менее наблюдалось бесконечное, казалось тогда, броуновское движение граждан.

В эпоху перемен в связи с отсутствием рабочих мест миллионы жителей бывшего СССР были вынуждены зарабатывать на жизнь кто как мог. Многие занялись челночным бизнесом. Вот так необходимая в ткацком станке деталь дала название и бизнесу, и людям. Мы не «челночили», но решили попробовать сделать это в свой отпуск. Составили бизнес-план, купили штук по десять бутылок крымского выдержанного вина известной марки, абрикосов, персиков и прямым поездом умчались с Аней в Москву. Для нас она по-прежнему оставалась столицей. У подруги там было много родственников, но на вокзале нас почему-то не встретили, хотя и обещали. Пришлось нам с огромными тяжеленными сумками и картонными коробками с фруктами добираться с вокзала к ним домой с пересадками и перебежками. Но ничего, утром, отсортировав фрукты, смело отправились на местный рынок — благо он был рядом.

За два дня реализовали фрукты, сварили родне всевозможного варенья, включая ассорти. Подруга знала рецепт «лёгкого летнего» варенья с минимальным количеством содержания сахара. Единственный минус которого состоял в том, что его нужно было достаточно быстро съесть.

На фруктах денег «наварили» немного. Но и тому были рады: в Москве можно купить своим родным и близким подарки, необходимые вещи без переплаты.

В общем, оставалось только реализовать вино и нанести визит Гиви.

Ничего лучшего мы не придумали, как отправиться прямо в центр на улицу Горького — теперешнюю Тверскую. Мы заходили в магазины, рестораны и предлагали вино. Две такие простодушные бизнес-леди. Нас спрашивали: «Какая партия?» Мы смущались: «У нас всего двадцать бутылок». Но надо сказать, москвичи были очень доброжелательны и подсказали нам, в каком баре мы сможем реализовать вино.

Нас провели в кабинет к директору. Он оценил прозрачность, цвет вина, потом, деловито перевернув бутылку вверх дном, посмотрел осадок и спросил, что мы хотим. Не моргнув глазом мы назвали свою цену, но, видимо, продешевили,

так как «шеф» согласился сразу. «Образец» оставили у него, а всю партию вина договорились привезти завтра.

Когда все дела были сделаны, Анечка позвонила брату. Они не виделись несколько лет после распада Союза. Гиви не так давно вернулся из какой-то латиноамериканской страны, где работал консулом в посольстве, и теперь жил с семьёй в Москве. Он пригласил нас на ужин. Договорились встретиться, после работы он забрал нас на площади около Курского вокзала. Там было большое движение, мы сели в машину как-то на ходу.

— Ты совсем не изменилась, — целуя и одновременно проверяя, как Аня закрыла дверцу машины, возбуждённо и радостно произнёс Гиви.

И когда машина, рванув с площади Курского вокзала, влилась в поток на улице, не отрываясь от руля, быстро и внимательно взглянув на меня, произнёс: «Тебя бы я не узнал...» Мы не виделись больше двадцати лет, первый и последний раз мы встречались ещё в Тбилиси, когда он был студентом, в то время ещё холостым.

В зеркале заднего вида я увидела совсем взрослого мужчину, волосы зачёсаны назад, у корней прямые, на концах вьются, лежат свободно, на пробор, немного прикрывая лоб. Просто и по-русски красиво. Удивительным образом в нём читалась русская кровь его мамы — Вари. Очень красивый человек! Скорее всего, если бы мы повстречались на улице случайно, я бы обратила внимание на его необычную красоту, но этот мужчина никак не ассоциировался с пареньком из Тбилиси.

Мы узнали от Аниного брата печальную весть: сначала ушла бабушка, через несколько лет за ней не стало и его отца.

Веривший в порядочность и благородство людей, отец вложил все деньги в строительство новой квартиры для своей семьи в Подмосковье. И, оставшийся без средств и собственного жилья, Леван не смог принять и пережить все потрясения девяностых годов.

Гиви вёз нас к себе домой, по дороге мы заехали в магазин. Он купил еды — всякой всячины и напитков, включая ликёр

и водку «Абсолют». Это же грузин! Надо знать кавказское гостеприимство! Хотя мы и предупреждали, что у нас есть гостинцы с юга: бутылочка «Массандры» и овощи. Много овощей. Мы с Аней привезли специально баклажаны, морковь, болгарский перец, ялтинский лук, помидоры, кинзу, петрушку, фиолетовый базилик, жгучий перец. В общем, всё для обожаемого грузинами аджапсандали — аналога нашего сотэ! Однако, как вы понимаете, гостинцы гостинцами, а хозяева хотели порадовать нас своим угощением.

— Это наша станция метро, — когда приехали в их район, Гиви кивнул головой налево. Мы проехали вперёд ещё немного.

— А вот и наш двор. И магазин около дома, очень удобно!

Я посмотрела в затемнённое окно авто и увидела, как мне показалось, тёмно-зелёную огромную густую ель. Мы вышли из машины, зашли в крайний подъезд, поднялись на лифте на какой-то этаж. Две квартиры были отгорожены от лестничной площадки холлом. Когда мы вошли туда, нас встретил весёлым лаем кучерявый пёс.

Вернувшись из зарубежной командировки в Москву, семья Гиви купила квартиру, а неподалёку от себя они сняли квартиру маме, чтобы та была ближе к ним. Анин брат был женат на русской девушке, с Надеждой они встретились ещё в Тбилиси. Изящная, эффектная, энергичная, она прекрасно знала грузинскую кухню, наготовила много всевозможных экзотических блюд к ужину. Мы сразу подружились, пока помогали ей накрывать на стол.

Чем нас только не потчевали в этот вечер!

Даже если тебя никогда, ни разу не видели и не знали, но ты приходишь или приезжаешь в грузинский дом, тебе будет оказано безусловное дружелюбие и гостеприимство. Так было у меня в далёкие семидесятые в Тбилиси. И теперь, уже в Москве, спустя двадцать лет, нас с Аней встречали как самых дорогих гостей. Есть такие благородные традиции в грузинском доме, веками сохраняемые народом: дать гостю всё самое лучшее. Мы сидели за роскошно накрытым столом, в нашу честь звучали настоящие грузинские тосты и немного

грустные, напевные и гортанные, грузинские песни. Мне показалось, что мы вновь очутились в Грузии.

Перед вечерним чаем мы рассматривали цветные фотографии родителей, родных в фотоальбомах, вспоминали бабушку. Девочек — дочек этой семейной пары — дома не было, мы познакомились с детьми заочно.

Тёплая душевная беседа затянулась далеко за полночь. Мы и не заметили, как быстро пролетело время, нам предложили остаться ночевать. Постелили в детской.

Рано утром я вышла на балкон, был еле уловимый туман, скорее утренняя дымка. Город просыпался, я с наслаждением вдыхала рассветную свежесть, расчёсывала свои длинные волосы и с высоты птичьего полёта (этаж восьмой или девятый) осматривала окрестности. Внизу была трансформаторная будка и недалеко — корпуса детского садика. Всё почти как у нас. Только у нас дома были пониже.

Московские гостинцы были куплены, мы возвращались домой. На вокзале меня встречал брат.

— Как дела, как ваш бизнес? — Он был в курсе моих дел.

— Да не очень, — ответила я, — вино неудачно продали, всего в два раза дороже...

— Ничего себе неудачно! Какой-нибудь немец у себя в Германии имеет прибыль три-четыре процента и счастлив!

Вероятно, это замечание запало в «бизнес-душу», и я подбила Аню повторить бизнес-проект, тем более что в бар дорожка была протоптана...

Продолжение отпуска было таким: вновь запаслись вином, теперь уже не только ординарным портвейном, но и другими винами, дороже, выдержанными и с медалями. Фрукты, овощи с юга везли только родственникам моей подруги. Отдельную большую коробку из-под масла наполнили салатными помидорами, болгарским перцем, баклажанами — «синенькими» (так их называют у нас в Крыму). Эта коробка предназначалась для семьи Гиви. Он обожал и умел готовить сотэ, как говорил сам Гиви, с так называемыми «батриджанами»!

Директор бара встретил нас очень приветливо, сказал, что будет рад и дальше сотрудничать с нами.

В этот раз мы остановились у других родственников подруги, которые жили в военном городке в Подмосковье. Гостили всего несколько дней, в Москве успели сходить в Пушкинский музей, посетить вещевой рынок — покупали всё для себя и для семьи.

В те годы даже в столичных магазинах разнообразие товаров было весьма условным, и купить нужную вещь необходимого размера подчас было невыполнимой задачей, поэтому вся страна устремилась за покупками на рынки. Всё те же «челноки» формировали там и ассортимент, и цены.

Не успели купить только новую скрипку для старшего сына Ани. Да ещё поджидали, когда Гиви вернётся из командировки, но, позвонив Варе, узнали, что он будет только на следующей неделе. А наш поезд с Курского вокзала оправлялся уже завтра в полдень.

Решили так: подруга едет в музыкальный салон за скрипкой. А я завожу домой наши покупки с вещевого рынка, укладываю наш багаж, беру коробку с гостинцами для Гиви, сажусь на электричку и еду в Москву. А встречаемся мы с Аней на станции метро Царицыно, ровно в семь вечера, как раз всё успеваем.

Я беру эту коробку, бутылку красного игристого, сажусь в электричку, еду, и... перед самой Москвой что-то случается, мы долго стоим, нет напряжения в сети. Зато я напряжена до предела, в общем, я опаздываю как минимум на час...

На платформе подруга меня не встречает. У меня ещё теплится надежда, что, может быть, она ждёт меня там, наверху. Выхожу — подруги нет, а номера телефона и адреса Гиви я не знаю!

Коробка неудобная, тяжесть неимоверная. Я оглядываюсь по сторонам и с ужасом понимаю, что не знаю, что делать! Мысли нет возвращаться в военный городок. От станции далековато, там темень, дождь, слякоть, заезженный полигон вокруг... Почему-то страшно, кажется, там волки!

Беру себя в собственные руки. Так, твёрдо говорю сама себе: надо искать магазин.

Начинает моросить мелкий противный дождик.

Спрашиваю прохожих: «Простите, вы не знаете, где здесь магазин?» Все как один показывают наверх. Но там я вижу только супермаркет! И никаких высотных домов рядом... Топчусь туда-сюда в том направлении, понимая, что нет, не то.

Снова возвращаюсь к станции метро. А вдруг моя подруга пришла? Увы... Из памяти всплывает тёмно-зелёная ель, такая высоченная. Увидев на горизонте жилой массив, я побрела в сторону высоток. Дождик усиливается, но мне всё нипочём, главное — надо достичь цели: найти магазин под елью.

Ещё достаточно светло, но людей на улице мало. Я останавливаю редких прохожих, спрашиваю: «Вы не знаете, где здесь есть небольшой магазин под большой развесистой елью?» Нет, никто не знает.

Интуитивно перехожу на другую сторону улицы, скорее даже проспекта. Там как раз стеной стоят высотки. Но что-то не то! Перехожу улицу назад.

Навстречу идёт миловидная женщина в белой батистовой блузке, лицо скрыто под импровизированным зонтиком: над тёмно-русой головкой она держит пластиковый пакет, дабы не испортить причёску. Я бросаюсь к ней, как к последней надежде!

Но она тоже не знает такого магазина рядом с елью...

— А какой адрес или хотя бы номер дома? — Она внимательно смотрит на меня, мои торбы. В её глазах я читаю сочувствие к провинциалке.

— Я не знаю.

Незнакомка удивляется моему ответу.

— Простите, ничем не могу помочь.

Она переходит дорогу, туда, к многоэтажным домам.

Помедлив, я решаю идти за ней. Бреду... на расстоянии. Не знаю почему. Просто она мне симпатична.

Моя спутница оборачивается и, дождавшись, вновь спрашивает: «А вы знаете, кого ищете?»

— Конечно, знаю. Это семья... забыла... на букву «С» ... швили. Он — грузин, а жена — русская. У них две девочки. Вспомнила! Они живут в доме, где почти все — дипломаты.

— Нет, не знаю такого дома, — говорит незнакомка, — если бы вы помнили хотя бы номер дома...

— Дом — многоэтажный, вот почти как этот, — я киваю на высотку, к которой мы приближаемся, — они живут то ли на восьмом, то ли на девятом этаже.

Моя собеседница уже не удивляется моей наивности: искать в Москве людей, практически не зная адреса, это почти как искать иголку в стоге сена!

В голове всплывают подробности, я делюсь с моей попутчицей: «Во дворе дома стоит трансформаторная будка и недалеко детский сад. Ой, вспомнила: у них ещё есть собака, кажется, эта порода называется эрдельтерьер». Я запомнила эту породу, потому что видела фотографии в альбоме у Ани.

— А девочки могут гулять с этой собакой? Какого они возраста?

— Конечно. Одна учится в институте, другая ещё в школе.

— Вы не знаете, как зовут девочек или собаку? — Я вижу, что «моя» красавица-брюнетка тоже начинает «бороздить извилины памяти».

— Девочек — Нина и Инна. А собаку не знаю.

Мы заходим во двор.

— Вы узнаёте, вот эта трансформаторная будка?

— Нет...

Подходим к последнему подъезду.

— Может быть, этот подъезд? Узнаёте? С торца есть небольшой магазин, но там обыкновенные деревья, не ель... Мне сюда. Ну, идёмте со мной... Может быть...

Я уже не чувствую ни беспокойства, ни тревоги, ни страха. Наоборот, мне почему-то думается, что всё будет хорошо.

В молчании заходим в подъезд, вызываем лифт.

— Не помните номер квартиры? Ну ладно, наудачу! — моя милая попутчица нажимает кнопку восьмого этажа.

Кабинка лифта быстро поднимается, я уже знаю, что сейчас мы попрощаемся.

Дверцы лифта распахиваются, и, о Боже, я вижу знакомый холл!!!

— Звоните, здесь всего две квартиры, я подожду вас, — моя спутница сама поражена, но ещё не верит в случившееся. Она уже видит, что привела меня в нужное место!

Я звоню в дверь холла, справа открывается дверь, слышен лай собаки...

— Спасибо вам огромное! Вас мне послал сам Господь Бог!

— Я рада, ну всё, я поехала, мне выше...

В дверях появляется мама Гиви — Варя, а за её спиной я вижу изумлённое лицо моей подруги.

— Как ты нашла? У тебя же нет адреса!

Я промокла, меня отправляют в ванную комнату под горячий душ. У порога ждут тёплые сухие тапочки, и на кухне, где накрыт стол, вкусный горячий ужин.

Из гостей мы уезжаем так поздно, что едва успеваем на последнюю электричку. Автобус подвозит нас на край посёлка. Впереди нас ждёт полоса препятствий: темнота, полигон, размытые дождями дороги. Мы заворачиваем скрипку в белую куртку подруги на случай, если упадём, — скрипка не запачкается. Обе разуваемся, так идти гораздо удобней, и, раскрыв зонтик, с великолепным настроением спешим в военный городок. И никакие волки нам не страшны — мы вместе!

Мы спали всего пару часов. Утром нам делает побудку Вовка, брат мужа Ани, мы гостим у него дома. Надо поторопиться на станцию к электричке, чтобы успеть к своему поезду в Москве.

— И что, это весь ваш багаж? — Вовка деловито оглядывает наши сумки. — Давайте их сюда!

Связав их, он закидывает их себе на загривок и командует:

— Ну всё, побежали на станцию!

Вовка — десантник, он бежит так быстро, что мы едва поспеваем за ним.

За ночь дорогу ещё больше размыло дождём, ноги скользят, наша «ручная кладь» — дамские сумки — мешает нам. А Вовке всё нипочём, наши торбы в два этажа для него, кажется, — пушинки, бежит ещё и прикрикивает: «Шевели ластами!»

Наш поезд отправляется вовремя, вместе с нами. Мы прощаемся с Москвой, впереди дорога домой. Ритмичный перес-

тук колёсных пар успокаивает волнение, приводит в порядок мысли.

Я вспоминаю вчерашний вечер и удивительную встречу. И наконец осознаю: мой ангел-хранитель пришёл мне на помощь в трудную минуту и подвёл меня к замечательной моей попутчице. А она, так же, как и я, не зная адреса, привела меня в нужное место.

Постойте! А сегодня утром — что это было? Кажется, бежали-то мы втроём, и нам помогали наши ангелы! Ангелы ведь тоже спускаются с Небес, я слышала об этом.

Эпилог

Я люблю смотреть на небо с летящими облаками и парящими в нём птицами. Единое бескрайнее небо по-прежнему простирается над нами: моей страной, Украиной, Грузией, другими братскими республиками бывшего СССР. А вот пограничных столбов на земле стало больше.

Мы — люди старшего поколения — все из советского прошлого, и мы с уважением относимся к разным народам. Когда-то мы дружили, ездили в гости друг к другу, писали письма и телеграммы, перенимали опыт и делились своим, радовались успехам друзей. Вот потому мне так нравится всё народное и национальное. Тепло и добро человеческих отношений, братство народов — это было так естественно в СССР, мы думали, что это навеки.

Время стало другое, а вместе с ним изменился мир. Как преодолеть разобщение братских народов? Слишком много слов: злых, холодных, тревожных — повисло сейчас в воздухе. Я спрашиваю себя: а легко ли было нашим родителям? Моим, Аниным, Гиви? Память о прошедшей войне, память людей всех поколений, испытавших лишения, неутешное горе, сплотила их, сделала стойкими, но не ожесточила. Они оставались такими же, даже лучше: работящими, добродушными, отзывчивыми. Способность услышать, поддержать, прийти на помощь друзьям, доверие делали дружбу советских людей отличной от дружбы людей западного мира.

Выросли дети, подрастают внуки. Многое мы повидали за это время.

Мы научились жить, преодолев все потрясения прошедших лет, не отказываясь от прошлого и взяв в будущее самое лучшее, что было у нас всегда: Веру, Надежду и Оптимизм.

...Столько времени прошло, а помнится, как в начале девяностых, на балконе, я чувствовала дыхание пробуждающейся Москвы.

И память унесла меня оттуда за кромку, где сливаются воедино земля и небо, где есть настоящие горы с зелёными или снежными вершинами.

Я вспомнила фуникулёр, который поднял нас из центра Тбилиси на гору Мтацминда.

И только сейчас, по истечении лет, мне думается, я знаю, как нестерпимо болит Душа по тому настоящему, что она потеряла, отчего она сохраняет в быту, культуре, праздниках, преданиях и обычаях свою маленькую Грузию, где бы ни находилась, в каких краях. Ей грустно и тесно в каменных джунглях огромного мегаполиса, непривычно не поделиться своей щедростью. Принять и подарить любовь.

Только это ценно, вечно: Любовь и Уважение.

Я мечтаю, и потому мне кажется, что все мечтают о безусловной любви. Люди остались теми же. В нас одна человеческая природа — греховная. Ближние, которые недавно были братьями, холодно относятся, говорят неправду, раздражительны по отношению к тебе, твоему народу. Почему? За что?

Если мы начинаем не любить, осуждать ближнего, мы должны не любить и осуждать себя: и в нас это есть также...

Подумай, что желаешь себе сам, когда бываешь в такой ситуации? — чтобы тебя принимали таким, какой ты есть. Выслушали, поняли. Поговорили начистоту. Нашли компромиссы.

Легко всё разрушить, труднее понять, простить. Жить по самым простым и важным законам, по законам любви и уважения... Я верю: это обязательно будет, случится.

Галина Шубникова

г. Советск, Кировская область

МОИМ РОДНЫМ

Мы связаны прочными нитями.
Родство не прервать, не предать.
Бабушки, деды, родители.
Ваш путь нам теперь продолжать.

Идти проторённой дорогой.
Судьбы своей нити плести.
Бабушки, деды, родители —
Ангелов крылья в пути.

Хранимы мы вашей заботой,
Памятью сердца, теплом.
Бабушки, деды, родители —
Отчий навеки наш дом.

Древо, что крепко корнями,
Ветви не гнёт на ветру.
Бабушкам,
Дедам,
Родителям
Я низкий поклон отдаю.

Елена Шедогубова

г. Семилуки, Воронежская область

ПОГОВОРИТЬ ОХОТА

На лавочке сидит старая-престарая баба Варя, закутанная в большой цветастый платок-полушалок, как раньше говорили. Подставляет морщинистое лицо солнцу, морщится ещё больше и улыбается.

— Посиди со мной, поговори... Отдохни...

Надо бы сварить-убрать-постирать-отругать, и всё срочно, но ноги, «услышав» заветное «посиди», сами направились к лавочке. Жирный рыжий кот и не подумал подвинуться. Кое-как умащиваюсь на краешке лавочки.

— И не жарко вам, баба Варя? Вредно ведь на такой жаре сидеть.

— Эх, милая! Мне уже ничего не вредно. Восемьдесят третий годок идёт, а холода мне и в земле хватит. Скоро уже...

— Да живите, баба Варя! Вы вот на своих ногах, никому не в тягость...

— Ну уж нет! — отзывается она. — Все мои уж убрались, а я тут с вами застряла. Да и какие это ноги! Вот я в девках, бывало...

Понятно, что «в девках, бывало» — это надолго, поэтому ссаживаю кота и устраиваюсь поудобнее. «Приготовить-убрать-отругать» подождёт. А старикам много ли надо? Немного. Ей — со мной поговорить, мне — её выслушать.

— ...Бывало, корову утречком подою, бидоны назад-наперёд свяжу, узелок с грушами или там яблоками захвачу и в город побегу. На базаре всё продам и ободёнкой назад. Мы ж с малолетства к работе приучены, баловства не видали, вот как щас-то. А когда и баловать было? Я вот вроде и маленькая была, когда отца забрали на войну, а всё помню. Вот про вчера не вспомню, а про то про всё помню...

От голода мы с матерью и братьями на хутора ближние бежали. А немцы всё равно туда добрались. Из избы нас вы-

гнали, пришлось землянку рыть. Еду, какая была, всю поотбирали и дрова. Вот мы, детишки, принесём из лесу хворост, сколько сможем, а они его отбирают и смеются, хохочут над нами. В лес ходили, ягоды какие собирали, грибы, силки ставили на птиц да на зайцев. Сами кормились...

Потом немцы ушли, тихо стало, спокойно. А рано утречком — выстрелы, крики. Оказалось, венгры пришли, мадьяры какие-то. Вот те ещё страшнее немцев были. Всех оставшихся собак постреляли, а потом стали за детьми охотиться. Для смеха убивали. Соседских мальчишек-погодков ихний офицер из пистолета застрелил. Нас мамки в лесу в овраге прятали, всё ждали, когда немцы придут. Те всё ж получше венгров, подобрее. Ну, некоторые были очень жестокие, обижали детей, пугали, а я помню немца, который подарил мне шоколадку. Я не знала, что это такое. Думала, что он хочет меня отравить, расплакалась. Он откусил кусок, показал, что это надо есть.

Она молчит, шевелит морщинистыми губами, вытирает скупые старческие слёзы, гладит кота, снова забравшегося на лавку.

— ...А потом на хуторе появилось много-много немцев, они согнали нас в колонну и отправили всех в лагерь, в Курск, как взрослые говорили. Мать с братьями гоняли каждый день рыть окопы, а меня она привязывала на верёвку рядом, чтоб не ушла. А то я один раз потерялась, искали меня, а я плакала-убивалась, женщина какая-то помогла...

Из ворот выходит её невестка, пожилая женщина, неодобрительно смотрит на наши посиделки и строго говорит:

— Жарко вам, мама? Вредно ведь на такой жаре сидеть, пойдёмте, мама, в дом.

Моя собеседница не возражает, лишь вздыхает и, кряхтя, поднимается с лавки. Невестка бережно подхватывает её под руку и уводит. Уже в воротах баба Варя оборачивается:

— А и спасибо, что посидела, послушала. Поговорить охота...

СОЛДАТСКАЯ ЛОЖКА

Рассказ-быль

Бедная, но красивая... Семья Катерины была бедней церковных мышей, а красоты у неё и на пятерых девок бы хватило. На зависть всем подругам парни за ней так и вились, и среди них Мишка — сын мельника — первого богатея на деревне. За то, что глаз положил на беспридданную голодранку, отец нещадно бил его несколько раз вожжами. Бесполезно! Стоит на своём: люблю, женюсь, бей — хоть убей!

Мельник и так ходил мрачнее тучи: знал, что скоро заберут и скот, и мельницу, прахом пойдёт крепкое налаженное хозяйство. Вечером позвал Мишку в горницу. Тот вошёл, встал набычившись, упрямо сдвинув брови.

— Зря ты, батя! Я всё равно по-своему сделаю...

— Цыц ты! Слухай сюда! Завтра пойдёшь к комбедчикам, скажи, пусть мельницу забирают и скотину со двора ведут.

Мишка ошалел от неожиданности.

— Ты чего это, батя?

— Так надо, сынок. Всё равно жизни не будет. Хоть живы останемся. А ты забирай свою... (хотел сказать — голодранку, да сдержался) суженую, и ступайте в город. Там, говорят, завод какой-то строить будут. Не пропадёте авось!

* * *

Уже много лет живут они в Сталино. Тогда в Семилуках тяжко и несытно было с детишками. Вот и перебрались по доброму совету на шахты. Михаил с малых лет был приучен к тяжёлой работе, втянулся в работу, в стахановское движение, в партию вступил. Потом стал секретарём парткома шахты. Кто же знал, что грянет война... Он, не раздумывая, ушёл на фронт добровольцем. Напоследок похлопал по плечу длинного, худого Ваньку, которому только-только исполнилось 17 лет, обнял охапкой ревущих детишек, с трудом оторвал от себя рыдающую Катерину и запрыгнул в уже уходящую последнюю полуторку. Через неделю ушёл добровольцем на фронт и Иван. Немцы стремительно приближались к Сталино...

* * *

Поздней ночью в окно тихо постучали. Катерина со страхом отодвинула занавеску. К стеклу прижалась расплющенная физиономия соседа-полицая Антона.

— Открывай, — махнул он рукой.

Катерина помедлила немного, накинула на плечи старую дырявую шаль и откинула щеколду. Антон ужом проскользнул в дом.

— Собирайся, поехали, да поскорей!

— Куда и зачем? Никуда я с тобой не поеду! — кутаясь в платок, решительно ответила Катерина.

— Не теряй время, дура! Завтра на площади всех партейных отродьев велено собрать и скопом на тот свет отправить. Так что детишек пожалей, собирайся!

Катерина так и охнула, и без сил опустилась на лавку.

— Как же так? А остальные-то...

Антон метался по комнате, сбрасывая в подвернувшуюся под руку тряпку детские вещички, чашки и ложки. Катерина, поддавшись его паническому настроению, стала лихорадочно одевать хныкущих сонных ребятишек.

За огородами стояла телега с впряжённой хромой кобылкой.

— Держи, это аусвайс. С ним везде пройдёте. Довезу, сколько смогу, а к утру должен вернуться.

Катерина сидела, сгорбившись и прижав к себе детей.

— Ты это зачем делаешь? — наконец спросила она.

Антон молчал, время от времени подстёгивая лошадь и попыхивая самокруткой. Потом сказал хрипло, не оборачиваясь:

— Люблю я тебя, давно уже люблю. Ты ведь своего Михаила никогда бы не бросила, вот и люблю издалека. Его на фронте всё равно убьют, комиссаров-то первыми убивают, известно. А ты, даст Бог, выживешь, найду и женюсь...

Катя стояла на лесной дороге, у ног лежал жалкий узелок с пожитками. Она смотрела вслед медленно удаляющейся телеге и фигуре сгорбленного возчика. Как будто почувствовав её взгляд, он обернулся, махнул кнутом и крикнул:

— Живи, Катя! Слышь, живи...

* * *

Много лет спустя приедет она в гости к дальней родне в Донецк (бывшее Сталино). Станет расспрашивать старожилов (а их и осталось-то горсточка!) о судьбе Антона-полицая. Наконец одна старуха вспомнит:

— Да, был такой. Его ж сами немцы и повесили. Говорили, что вывез семью какого-то комиссара, а кто-то из соседей видел и донёс. Ну это вряд ли! Как был собакой, так и смерть ему собачья. Что его и вспоминать!

* * *

По распоряжению командования часть, где служил Михаил, перебросили под Будапешт. Бои шли, по словам Левитана, «тяжёлые, кровопролитные». Немцы дрались ожесточённо, утюжили советские окопы танками, бомбили с воздуха. Артиллерийская дуэль не стихала два дня. Потом обе стороны выдохлись и наступило недолгое затишье. Артиллеристы — боги войны — всё равно не покидали орудий, спали и ели рядом с ними. По окопам позади орудийных расчётов растекалось пополнение. Иван со своим расчётом уже давно маялся без курева.

— Пойду у новеньких попрошу, авось не откажут!

Короткими перебежками он преодолел расстояние до окопов и спрыгнул, едва не наступив на ноги сидящего пожилого бойца.

— Ты бы, солдатик, поосторожнее... Негоже на живых людей наступать, — проворчал тот и осёкся, во все глаза глядя на Ивана.

Иванов крик — Батя! — слышен был, наверное, и в немецких окопах. Они не могли оторваться друг от друга, обнимались, плакали, снова обнимались. Глядя на встречу отца и сына, плакали, не стыдясь, закалённые фронтовики.

...Отец сосредоточенно вырезал на солдатских ложках имена и фамилии — Иван Евтеев и Михаил Евтеев.

— Держи, сынок. Это тебе мой отцовский оберег, — и протянул ему ложку с надписью «Михаил Евтеев». — А себе оставлю твою — «Иван Евтеев». Так мы с тобой неразлучны и будем.

Но злая судьба разлучила их навсегда...

* * *

На одной из берлинских улиц Михаила накрыло градом осколков. Один ударился о ложку, покорёжив её, другие потом долго доставал доктор в госпитале, звякая хирургическими инструментами. А последний осколок так застрял, что извлечь его не было никакой возможности.

— Ну, солдат, судьба тебе с ним жить. Главное, чтоб он у тебя с места не сдвинулся. Тяжёлого не поднимать... — врач осёкся, понимая, что сказал глупость.

Через год, в 1946-м, вытаскивая застрявший плуг, почувствует Михаил нестерпимую боль в сердце, охнет и упадёт на землю, руки раскинув, как будто пытаясь обнять напоследок весь этот мир...

* * *

1 июня 1948 года в Львовском военном госпитале царило небывалое оживление. На городском стадионе должен состояться футбольный матч. Такое событие никто не хотел пропустить! Одноногий Иван вышел на костылях проводить счастливчиков. (Врачи пытались помочь ему, но гангрена побеждала, и ногу пришлось ампутировать. Но ведь жив! Жив!) И такое несчастное лицо было у Ивана, что начмед не выдержал и махнул рукой.

— Полезай!

До стадиона рукой подать, в автобусе шумно и весело. Но дорогу перегородил какой-то неуклюжий селянин с телегой. Водитель притормозил. Внезапно из-за угла вынырнули фигуры в лёгких летних пальто, распахнули их и начали поливать автобус огнём из немецких шмайсеров. Выстрелы, звон стекла, крики людей — всё спрессовалось в один комок боли и ярости. Нападавшие скрылись так же внезапно, как и появились. В автобусе, насквозь прошитом десятками автоматных очередей, выживших не было...

* * *

Не так давно схоронила семья старую бабку Катерину. Уже при смерти едва слышно просила она:

— Вы ложку-то Иванову-дедову сохраните, не бросайте.

Лежит потемневшая, скрученная ложка с процарапанной надписью «Иван Евтеев» в замшевом мешочке вместе с медалями отца и сына Евтеевых «За взятие Будапешта», «За взятие Берлина», «За отвагу». И цена ей такая же, как тем наградам. Бесценна...

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ

Памяти отца — Токарева Петра Яковлевича

За участие в боях и сражениях Великой Отечественной войны мой отец был награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу» и «За взятие Будапешта». В возрасте сорока четырёх лет он погиб в год двадцатилетия Победы.

Он безуспешно пытался вытащить застрявший в теле вражины штык, дёргал его к себе, раскачивал, но всё напрасно. А ведь, помнится, тогда, на окраине деревни, куда его взвод ворвался первым, он легко всадил штык в живот поднявшемуся ему навстречу немцу и так же легко его вытащил. А теперь штык почему-то превращается в бензопилу «Дружба», застревает в огромной сосне и никак, ну никак её не вытащить! Так уже было полгода назад, когда упустил он момент и пилу заклинило в распиле. И дерево не падает (хотя может упасть в любую минуту и в любую сторону), и «Дружба» — намертво... Повредил он тогда пилу-то. Начальник участка молодой, но злой как чёрт, обматерил его на всю тайгу, оштрафовал и пригрозил, что «ещё хоть раз — и пойдёшь под суд за порчу народного имущества». И ведь засудит, гнида, как есть засудит. А боль-то откуда? Непереносимая, сука, боль! Ранили, что ли, его опять? Он с трудом тянет руку к лицу.

Нет, все грубые шрамы от осколочного в лицо всё те же и на прежнем месте. А-а! Вот оно! Боль скопилась в животе и оттуда ползёт по всему телу. Значит, в живот ранило. Хреново... Видал он и таких, много. Недолго с развороченными кишками-то проживёшь. Когда же меня так угораздило? А что здесь Маруська делает, на фронте-то?

Я ж в сорок восьмом женился... Что это? Я где? А взвод надо в атаку поднимать...

Сквозь кровавую туманную вату пробивались голоса: визгливый и истеричный начальника участка и грубый, простуженный бас бригадира.

— Да не был он пьян, Иван Матвеич, верьте слову! Тверёзый был...

— Слову твоему грош цена! Он уже не раз «под газом» являлся. Сам и виноват. Нечего было под дерево лезть.

— Так он же «Дружбу» вытаскивал и того пацана-напарника, считай, спас.

— Ты мне тут героя из него не лепи, понял? По пьяни нарушил технику безопасности, пилу угробил опять, дерево на трактор упало, а потом и его привалило. Будет за всё платить до самой смерти. Вот и весь сказ!

Над перебранкой взлетает злой окрик старого хирурга:

— А ну пошли отсюда, ироды! Ему до этой самой смерти уже пара шагов и осталась-то. Кости тазовые раздроблены, перитонит гнойный... Вы, суки, не могли вертолёт на лесоповал вызвать, а? На охоту начальство возить, жопу им лизать — вы первые. Валите отсюда!

Он подошёл к койке, на которой метался здоровенный детина со страшно изуродованным лицом. Он тяжело дышал, время от времени выкрикивал бессвязные слова, дёргался, порываясь встать... Врач прислушался и вздохнул:

— Всё в атаку ходит, с немцем врукопашную бьётся. Догнала его костлявая. Через столько лет догнала...

У койки сидела женщина с застывшим, как будто навсегда испуганным лицом.

— Муж?

— Муж мой. Токарев Пётр Яковлевич. Дети у нас, четверо...

— Ты крепись, мать. Мы уже ни тебе, ни ему не поможем. Не боги мы.

...А он всё шёл и шёл в свой последний бой, в штыковую, так и не успевая вытащить штык из тела врага и ответить на смертельный удар в спину.

Анна Шувалова

г. Владимир

ЗДРАВСТВУЙТЕ!

Анечка собирается в музыкальную школу. Настроение у неё неважное. Нет, не потому что опять надо идти на урок, а потому что поссорилась со своей подружкой Наташей, с которой в эту самую музыкальную школу ходит, с кем она интересно и весело проводит время. Сегодня Наташа занимается с Ниной Ивановной первая, Анечка после неё. Только уже не поболтаешь в перерыве, как раньше. А идти надо.

Раздевшись в гардеробе в холле школы искусств, девочка узнаёт на вахте у дежурной, в каком кабинете занимается Нина Ивановна. До начала урока ещё есть время. Можно пройти к классу или посидеть внизу. Ученица выбирает первое. Ей нравится иногда послушать, как играют другие. Случается, что открываешь для себя невероятно красивые по звучанию мелодии.

Анечка направляется к ступенькам, поднимается медленно вверх. В пролёте между лесенками у окна стоит Наташина бабушка. Да, она частенько сопровождает внучку, приводит её или встречает. Девочка следует мимо неё с гордым и обиженным видом, даже не удостоив взглядом. С подружкой они теперь не общаются, значит, и с её родственниками тоже.

Женщина замечает проходящую мимо Анечку и обращается к ней:

— Аня, здравствуй! Ты почему не здороваешься? Это не только некрасиво, но и невежливо. Тебя разве не учили, что это нехорошо? К тому же я намного старше тебя.

Девочка немного замедляет шаг, но продолжает упорно молчать.

— Почему ты не отвечаешь? Это ты с Наташей поссорилась, а не со мной. Лично я с тобой не ссорилась и не делала тебе ничего плохого. Так нельзя. Обязательно поговорю с твоей мамой и всё ей расскажу. Пусть она тебе объяснит, как себя надо вести.

Анечка в таком же упрямом молчании достигает последней ступеньки и поворачивает в сторону нужного кабинета. Только вот незадача. Вместо того чтобы испытывать тихую радость от «мести» за свою обиженную персону, внутри противно, гадко и невероятно стыдно. Приходится признать, что Наташина бабушка права. Поссорилась-то она с Наташей, а не с ней. Но гордыня не собирается отступать и продолжает нашёптывать, что так и надо, ничего, мол, страшного не случилось, они все заслужили такое отношение.

Закончился Наташин урок у Нины Ивановны. Теперь очередь Анечки. Насупившись и не говоря ни слова, она проходит в кабинет, достаёт ноты и садится за рояль, поздоровавшись только с учителем, а подружку полностью проигнорировав: нечего, в ссоре они. Потом Аня ждёт, когда рядом с ней сядет преподаватель, и начинает играть домашнее задание. Только вот легче не становится ни сейчас, ни после занятия, ни дома. Её гложет чувство вины и осознание, что она поступила неправильно.

Анечка несколько дней с опаской думает, что Наташина бабушка вот-вот позвонит её маме и расскажет о том, что она с ней не поздоровалась. Однако этого не происходит. Сама Аня не решается признаться в этом. Стыдно.

Снова надо идти в музыкальную школу. Неохота. Не ходить бы, но память о том «уроке музыки», что устроила ей мама за прогул и обман, ещё свежа. Да и чувства, когда всё открылось, были не из приятных. Ну уж нет, больше не хочется повторения. Нет-нет-нет. Ни за какие коврижки.

После урока Анечка спускается в холл школы искусств, где видит Наташину бабушку и саму Наташу. С подружкой они всё ещё не помирились. Ходят, дуются друг на друга. Девочка поравнялась с женщиной и произнесла:

— Здравствуйте!

— Здравствуй, Аня! — отвечает ей Наташина бабушка и улыбается.

Девочка улыбается в ответ и проходит в гардероб. На душе легко и спокойно. Поругалась-то она с Наташей, а не с её родственниками. А с подружкой они всё равно обязательно помирятся.

ПРОСТО НЕКРАСИВО

Анечка стоит посередине кухни и громко кричит. Её внешность сильно изменилась. Брови нахмурены и сведены вместе на переносице. Рот искривился. Глаза стали злыми. Да и все черты её симпатичного лица стали отталкивающими.

— И вообще, не буду я ничего больше делать, даже и не проси! Не дождёшься! Не хочешь — и не надо! Ты всегда так говоришь и совсем не думаешь обо мне!

Надежда Ивановна стоит рядом, молчит и терпеливо слушает «выступление» внучки, не перебивая. Когда образовалась неожиданная пауза, она спокойно произносит, обращаясь к Анечке:

— Какая ты стала некрасивая. Ну посмотри на себя. Всё лицо перекосилось, стало злым и неприятным. Покраснело. И голос стал противный. Какой-то тонкий и визгливый. Даже не хочется слушать. У тебя такой тембр, — когда ты спокойно говоришь, редко его встретишь. Не идёт тебе гневаться. Ты гораздо приятней выглядишь, когда улыбаешься.

Девочка слушает эти неожиданные слова и на какое-то время перестаёт кричать. Потом продолжает снова свои излияния о несправедливом к ней отношении Надежды Ивановны. Та вздыхает и ничего больше не говорит.

Выпустив пар, внучка успокаивается и идёт в комнату. Однако сказанные слова о том, что она становится некрасивой, когда гневается, откладываются у неё в голове. Она берёт маленькое зеркальце и начинает себя рассматривать в него. Кто это? Непонятно, чьё отражение видно. Кто это смотрит на неё? Какое-то злое и противное существо с морщинами на лбу, вокруг рта, со злым взглядом. Нет, это не Анечка. У той красивые зелёные глаза, чётко очерченный рот и яркие красные губы. А тут какая-то кривая полоска. Нет, это не она. Фу-фу-фу. Ну его, гневаться. Не хочет она быть таким страшилищем. Лучше не кричать, не ругаться, а улыбаться. Хочет Анечка снова получить свои глаза и губы, свой голос. И чтобы без морщин. Зеркальце оказывается на своём месте, гнев уходит в неизвестном направлении, а милое улыбающееся личико возвращается к своей хозяйке вместе с приятным голосом. И правда, хватит, ну его, гневаться-то.

Вместо послесловия

Дорогие друзья!

Очередной, третий по счёту, выпуск проекта «Дорогие мои старики» уже у вас в руках. Судя по отзывам о предыдущих сборниках, которые поступают в издательство, книги будоражат память, помогают осознать ту роль, которую играли и играют в жизни России те, кого мы называем дорогими сердцу стариками. И это неудивительно: участники проекта – очень неравнодушные люди, объединённые любовью к истории страны и стремлением услышать отголоски времени во всём, что происходило и происходит с соотечественниками.

Повседневность, будничность, суета и скоротечность бытия отступают на второй план, когда набат нашей общей исторической памяти призывает отделять правду от лжи, ценить героизм, жертвенность, истинную доброту и веру в торжество любви тех, кто пришёл в этот мир раньше нас и достойно пронёс звание Человека через все испытания.

Следующий, четвёртый, выпуск нашего проекта, как и предшествующие, станет зеркалом действительности, где без прикрас и помпезных гимнов читатель увидит мудрость, честность, сомнения и искания старшего поколения.

В будущем году мы отметим 75-летие Великой Победы Великого народа в кровопролитной войне за свободу нашего Отечества. По решению редколлегии одновременно с подготовкой четвёртого выпуска проекта «Дорогие мои старики» мы приступаем к работе над созданием специального выпуска, посвящённого рассказам о героизме и трагизме тех незабываемых лет. Семейные истории и истории боевых наград близких людей; письма с фронта; дневниковые записи солдат и офицеров Красной Армии о ратных подвигах и горечи потерь, поражений; фронтовые песни и стихи; воспоминания тружеников тыла, партизан; публицистические заметки о деятельности современных поисковых отрядов – всё это будет опубликовано в юбилейном сборнике и станет, безусловно, запоминающейся страницей всенародной летописи Подвига.

А создадим её мы.

Надежда Казакова,
автор и редактор-составитель
сборника «Дорогие мои старики»

СОДЕРЖАНИЕ

Н. Казакова. Слово к читателям 3
Марина Андриевская 10
Светлана Бестужева-Лада 31
Ульяна Васильева-Лавриеня 40
Надежда Казакова 59
Лариса Калюжная 67
Валерий Кожушнян 82
Людмила Колбасова 95
Иаков Липянский 113
Геннадий Лысенко 122
Милена Миллинткевич 132
Анна Прудская 137
Петр Панасейко 152
Георгий Петров 172
Ирина Салтанова 183
Галина Шубникова 199
Елена Шедогубова 200
Анна Шувалова 208
Н. Казакова. Вместо послесловия 211

Дорогие мои старики

Сборник произведений
Выпуск 3

Редколлегия:
С.С. Антипов, И.Е. Витюк,
Д.В. Минаев, Н.В. Казакова

Редактор-составитель:
Н.В. Казакова

Дизайн обложки:
Е.В. Анисимова

Корректор:
А.Е. Русских

Компьютерная вёрстка:
А.А. Минаева

Подписано в печать 30.07.2019
Формат 60x90/16. Бум. офс. 80 г/м^2.
Печать цифровая. Объём 13,375 усл. п/л.
Гарнитура BalticaC.

ISBN 978-5-907154-59-9





ООО Издательство «Серебро Слов»

Телефон: *8 (926) 433-33-99*

E-mail: *serebro.slov@gmail.com*

Сайт: *http://tvoyakniga.ru*

Интернет-магазин:

http://tvoyakniga.ru/content/magazin/magazin/

